

Анастасия Угля

КАРДИОХИРУРГИЯ

Мелиса

Цена

НЕВИННОСТИ

18+

Анастасия Угля
Цена невинности

«Автор»

2026

Угля А.

Цена невинности / А. Угля — «Автор», 2026

Мелиса верила, что встретила любовь всей своей жизни. Явуз Аслан — наследник медицинской империи, мужчина, сводивший с ума одним взглядом, — смотрел на неё так, будто мир создан только для них двоих. Но одним роковым вечером всё рухнуло. Предательство, подстроенное теми, кому она доверяла больше всех. Позор. Изгнание. Побег из родного дома. Её место заняла младшая сестра — в её постели, в её судьбе, в сердце её мужчины. Прошло восемь лет. От прежней наивной девочки не осталось и следа. Теперь Мелиса Даудова — блестящий кардиохирург, которая привыкла держать в руках чужие трепещущие сердца. Она сменила имя, построила новую жизнь, и единственная память о том предательстве — её маленький сын. Но трагический звонок брата заставляет её вернуться в город, где всё началось. Она вернулась не мстить. Она вернулась спасать. Но правда, которую она скрывала восемь лет, способна уничтожить их всех.

© Угля А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Мелиса	5
Глава 2 Мелиса	12
Глава 3 Мелиса	20
Глава 4 Явуз	27
Глава 5 Мелиса	33
Глава 6 Мелиса	37
Глава 7 Явуз	41
Глава 8 Мелиса	46
Глава 9 Явуз	51
Глава 10 Мелиса	55
Глава 11 Явуз	62
Глава 12 Мелиса	68
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Анастасия Угля

Цена невинности

Глава 1 Мелиса

Восемь лет... Целая вечность, уместившаяся в один незаживающий шрам на сердце. Говорят, время лечит, но есть раны, которые не затягиваются, а лишь покрываются тонкой, прозрачной пленкой воспоминаний. Чуть заденешь — и снова кровоточат, обильно, горячо, словно всё случилось только вчера. Восемь лет назад мир, который я строила в своих девичьих мечтах — хрупкий, сияющий, сотканный из надежд и нежных обещаний, — рухнул в одночасье. Он разбился на миллион осколков, и каждый впился в мою душу, похоронив под обломками мою веру в любовь, в справедливость и в те кровные узы, что должны быть нерушимее стали.

Меня предали. Не чужие люди, не случайные прохожие, чьи лица стираются из памяти на следующее утро. Нет. Меня предали те, кого я пускала в свою душу без стука, кому открывала сердце нараспашку, не ожидая удара в спину. Моя младшая сестра, Селин, — девочка, которую я нянчила в детстве, чьи слёзы вытирала своими ладонями, кому отдавала лучшие куски со своей тарелки на протяжении всех своих двадцати лет — и человек, которого я любила так, как любят, наверное, лишь раз в жизни. Всем своим наивным, горячим, ничего не подозревающим сердцем. Его звали Явуз.

Наше знакомство вышло почти мистическим, словно сама капризная судьба решила столкнуть нас лбами, не спрашивая моего согласия, не давая времени подготовиться. Я только приехала покорять Стамбул — этот величественный, сумасшедший, пропитанный историей и амбициями город на берегах Босфора. Учиться, впитывать новую жизнь, дышать полной грудью после душевной опеки строгой семьи. Шумная улица в районе Этилер, бесконечный людской поток, сигналы машин, спешка, мысли где-то далеко — в расписании лекций, в мечтах о будущем. Помню только истошный, режущий уши визг тормозов, удар собственного сердца где-то в горле и то, как асфальт буквально ушёл из-под ног в миллиметре от смерти. Он чуть не сбил меня на своей блестящей, хищной машине — чёрной, дорогой, пахнущей кожей и деньгами.

Могло бы быть больно, страшно, но вместо этого я увидела его глаза. Взволнованные, невероятного оттенка — серые, словно грозовое небо над Босфором в час, когда шторм лишь собирается с силами. В них плескался настоящий, живой испуг, смешанный с чем-то ещё — каким-то первородным потрясением, будто он тоже, как и я, узнал в этот миг что-то судьбоносное. Он выскочил из автомобиля стремительно, не глядя на поток машин, руки его слегка дрожали — эти сильные, ухоженные руки человека, привыкшего к власти, — и он предлагал помощь, настаивал, умолял отвезти меня в больницу, прикоснуться, убедиться, что я цела. Его голос — низкий, бархатистый, с лёгкой хрипотцой волнения — обволакивал, проникал под кожу.

Сердце моё колотилось где-то в горле, но я отказалась. Не потому, что не хотела — о Аллах, как я хотела продлить этот миг, позволить ему коснуться себя, сесть в его машину и уехать хоть на край света. А потому что «нельзя». Потому что «неприлично». Потому что Стамбул, при всей своей показной европейскости, оставался городом, пропитанным духом строгих правил, вековых устоев и неусыпных глаз. Здесь каждый второй — чей-то знакомый, дальний родственник или сосед троюродной тётки. Сесть в машину к незнакомому мужчине? Для меня, для девушки из уважаемой семьи Кылынч, это было равносильно подписать себе приговор. Если бы только дедушка узнал... О, я мгновенно представила себе его суровое, высеченное из гранита лицо, стальной блеск в глазах и то, как он, не раздумывая ни секунды, выдал бы меня

замуж за первого же кандидата, лишь бы спасти честь семьи. Скандал, запятнанная репутация, шёпот за спиной — этого я боялась больше, чем переломов. Больше, чем самой смерти.

Я думала, та встреча останется лишь яркой вспышкой, захватывающей историей для подружек, волнующим воспоминанием, которое со временем потускнеет. Но вселенной было угодно распорядиться иначе. Вторая встреча обрушилась на меня как удар молнии, когда я чувствовала себя в полной безопасности — в стенах моего же университета. Перерыв между лекциями, серый мрамор коридоров Богазичи, мы с одноклассниками что-то бурно обсуждаем, смеёмся. И вдруг воздух вокруг меня сгустился, стал плотным, электрическим. Я почувствовала его приближение спиной, каждым волоском на затылке, ещё до того, как услышала низкий, бархатистый голос, произнёсший короткое «Привет».

Он подошёл так, будто имел на это полное, неоспоримое право. И в тот момент, когда мои подруги замерли с открытыми ртами, я узнала то, о чём судачил весь университет. Это Явуз. Главная звезда, местное божество, наследник огромной медицинской империи. Сын того самого гениального кардиохирурга, чьё имя гремело по всей Турции — Омер Аслан, владелец сети клиник «Аслан», человек, которого называли не иначе как «повелитель сердец». Популярный, сказочно богатый, блестяще образованный, окончивший Гарвард и вернувшийся в Стамбул, чтобы продолжить династию. Недостигаемый. О нём вздыхали все — и студентки, и преподавательницы, и, наверное, даже статуи в парках. И он подошёл ко мне.

Ну как в такого было не влюбиться? Это было подобно гипнозу, наваждению, от которого невозможно очнуться. У него были густые тёмные волосы — такие, в которые, казалось, можно запустить пальцы и забыть обо всём на свете, о всех правилах и запретах. А его серые глаза... О, эти глаза не просто смотрели — они пронизывали насквозь, вынимали душу и рассматривали её под микроскопом. В их бездонной глубине плескалось что-то тёмное, первобытное, неразгаданное, опасное и невыразимо притягательное. Его кожа, смуглая, с тёплым золотистым оттенком, пахла каким-то невероятно дорогим парфюмом с нотами бергамота и сандала и чем-то таким, от чего у меня кружилась голова и подкашивались колени. Руки с чётко проступающими венами, сильные, взрослые руки мужчины, привыкшего держать всё под контролем — и скальпель, и человеческие судьбы. Я ловила себя на преступной, запретной, но такой сладкой мысли, что больше не хочу быть послушной, правильной девочкой, той Мелисой, которую хотели видеть родители. Я хочу разгадать этого мужчину, словно опасный, запретный манускрипт. Узнать, что скрывается за этой самоуверенной полуулыбкой, от которой у меня подкашивались ноги, а сердце пускалось в пляс где-то у самого горла. Мне казалось, что за фасадом идеального мажора, избалованного наследника, прячется целая вселенная, готовая принять меня в свои объятия.

Узнала. Со временем завеса тайны пала, медленно, мучительно, лепесток за лепестком. Я увидела его настоящего, без прикрас, без золотой мишуры. Увидела ту самую бездну, в которую так отчаянно стремилась заглянуть, не думая о последствиях. И это знание не принесло мне счастья, не подарило освобождения. Оно разорвало меня на куски. Потому что именно он, мой избранный, моя первая и единственная любовь, мой взрослый, сознательный выбор, предпочёл мне ту, кого я качала в детстве на руках. Мою младшую сестру, Селин. Они вдвоём, словно два искусных, хладнокровных хирурга, провели операцию на моём живом, трепещущем сердце без наркоза. И шрам от этого предательства до сих пор саднит — при смене погоды, при случайном воспоминании, при звуке её имени.

Восемь лет я носила в себе эту боль, эту чёрную, всепоглощающую тоску, думая, что меня просто предали. Что любовь оказалась слабее похоти, что Явуз увлёкся моей более мягкой, более покладистой сестрой. Наивная. Я даже не подозревала тогда, что это было не спонтанное чувство, не мгновенная вспышка страсти. То, что они сделали, было не просто изменой. Это была ювелирная, хладнокровная, дьявольски продуманная операция, спланированная до мельчайших деталей. Истина, которая открылась мне спустя годы, собираемая по крупицам из

оброненных фраз, случайных взглядов и собственных горьких размышлений, оказалась страшнее любой, самой чудовищной фантазии. Я была не жертвой обстоятельств. Я была пешкой в шахматной партии, где ферзём оказалась моя родная кровь.

Чтобы понять всю гениальность их подлости, нужно понять, какой я была. Я была правильной. Той самой старшей дочерью, которая боится позора пуще смерти, боится дедушкиного гнева, боится косога взгляда, боится запятнать честь рода Кылынч. Селин знала это лучше всех. Она выросла рядом со мной, впитывая мои страхи, изучая мои слабости, словно терпеливый палач, затачивающий лезвие топора. И именно на моих страхах она и построила свой дьявольский план.

Всё началось не в тот день, когда я, сгорая от стыда и боли, увидела их вместе. Нет, это была лишь финальная, самая эффектная сцена спектакля. Настоящая игра началась с того самого момента, как я, раскрасневшаяся и взволнованная, с горящими глазами и дрожащим голосом, рассказала сестре о чудесном спасении на дороге и о том, кто такой Явуз. Я искала у неё поддержки, я верила ей, как себе. Селин тогда внимательно выслушала, и в её взгляде, как я теперь понимаю, мелькнул не сестринский интерес, не тёплая радость за старшую сестру, а холодный, расчётливый азарт игрока, увидевшего выигрышную комбинацию. Она сказала, мягко, вкрадчиво, ласковым голоском: «Слушай, если он тебе нравится, почему бы и нет? Только дедушка... Мы должны быть хитрее». С того дня она стала не просто моей наперсницей, она стала моим «ангелом-хранителем» в мире запретной любви, моим сообщником, моим прикрытием.

Селин придумала гениальную легенду. Чтобы я могла видеться с Явузом, не вызывая подозрений, она записалась со мной на одни и те же дополнительные курсы. Только я ходила на свидания, сгорая от любви и страха, а она прикрывала меня перед подругами и родственниками, с невинной улыбкой рассказывая, что мы вместе в библиотеке. Она знала все наши тайные места, все пароли, все уловки. Именно Селин дала мне ключи от той самой квартиры в Бебеке, доставшейся нам от двоюродной бабушки. «Там вас никто не тронет, я посторожу», — шептала она с заговорщицкой улыбкой, и в глазах её плясали бесенята. Я думала, что сестра ради моего счастья рискует всем. Что она — мой самый верный союзник. А на самом деле она плела вокруг меня кокон, с каждым днём всё более плотный, из которого я не смогла бы выбраться, даже если бы захотела.

План был дьявольски прост, и в этом его гениальность. Мне не нужно было ничего доказывать, потому что я сама, добровольно, ведомая «поддержкой» сестры, шла в ловушку. Каждый мой шаг, каждый мой вздох, каждое моё тайное свидание — всё это было частью сценария, написанного Селин. В тот роковой вечер я должна была остаться с Явузом в той квартире. Селин сама предложила это, с энтузиазмом, достойным лучшей актрисы: «Сегодня идеальная ночь, Мелиса. Дедушка с отцом уехали на деловую встречу в Анкару, раньше завтрашнего вечера не вернуться. Мама с бабушкой у тёти Фатмы. Вы будете одни во всём мире». Она светила от радости за меня, обнимала, поправляла мне волосы перед зеркалом. И я, полная благодарности, окрылённая, трепещущая от предвкушения, переступила порог.

Явуз был нежен и убедителен как никогда. Он шептал мне слова, от которых кружилась голова, он смотрел на меня так, будто я была единственной женщиной на земле, и в этом взгляде мне чудилась вечность. А потом, когда поздним вечером за окном уже сгустились сумерки и Босфор подёрнулся серебристой дымкой, он вдруг нахмурился, бросил короткий взгляд на экран телефона и сказал: «Мне нужно срочно отъехать, любимая. Буквально на час. Возникли проблемы в клинике, отец просит приехать. Дождись меня». Он поцеловал меня в лоб — нежно, почти благоговейно, — и ушёл, оставив после себя аромат своего парфюма и смутное чувство тревоги. А я осталась ждать, ничего не подозревая, переполненная любовью и счастьем.

Я не знала, что этот час решит мою судьбу, перечеркнёт всё моё будущее. Что в этот момент Селин уже звонила бабушке с чужого, заранее купленного номера, задыхаясь от великолепно отыгранного «волнения»: «Дедушка, прости, я не знаю, что делать... Там... Там кто-то посторонний в бабушкиной квартире в Бебеке. Мне кажется, это воры. Я боюсь, я слышу странные звуки».

Они ворвались в квартиру внезапно. Грохот выбитой двери, тяжёлый топот мужских ног, сдавленное дыхание — дедушка, отец, дяди, все, кого подняли по тревоге, чтобы защищать семейное имущество. Каков же был их ужас, когда вместо воров они нашли меня. Свою внучку, свою старшую дочь, свою племянницу. Одну. В скомканной постели, с распушенными волосами, с припухшими от поцелуев губами, в полутьме чужой квартиры. Дедушка не кричал. Он молчал, и это молчание было в тысячу раз страшнее любого крика. Он только посмотрел на меня так, словно я умерла в этот момент, словно перестала существовать, словно превратилась в пустое место. С ним были дяди которые брезгливо отвернулись, пряча глаза, и мама... лицо мамы я не забуду никогда. Глаза, полные не гнева, а вселенской, бездонной скорби. Скорби по дочери, которая только что перестала для неё существовать.

А потом начался театр абсурда, разыгранный с мастерством, достойным шекспировской трагедии. Потому что в тот момент, когда дедушка, тяжело дыша, схватился за сердце и прохрипел: «Завтра же... завтра же ты выйдешь замуж, пока не пошла молва», — в комнату вошёл он. Мой спаситель. Мой Явуз. Только взгляд его был чужой, холодный и расчётливый, как у хирурга перед сложной операцией.

Он не защитил меня. Вместо этого он отыграл роль благородного свидетеля, случайно оказавшегося в эпицентре позора. «Я всё слышал», — сказал он, обращаясь к старейшинам, и его голос звенел фальшивой медью. — «Я приехал забрать свои вещи, которые оставил в этой квартире, не зная, что здесь будет она. Да, мы были знакомы. Она преследовала меня, искала встреч, не давала прохода. Но я, как честный человек...» Он замолчал, делая вид, что ему трудно говорить, и нанёс смертельный удар: «Я хочу предложить выход. Я глубоко уважаю вашу семью, род Кылыч известен своей честностью. Чтобы смыть этот позор, я готов жениться. Но не на той, что опорочила и свой род, и моё имя своим легкомысленным поведением. Я прошу руки вашей младшей внучки, Селин. Которая всегда была образцом скромности, чистоты и добродетели. Этот брак соединит семьи и заставит злые языки замолчать».

Мир рухнул окончательно. Я смотрела на них, не веря своим ушам, не в силах вдохнуть. Моя Селин, моя любимая, «образцовая» сестра, которая ещё утром подкалывала мне волосы и желала сладкой ночи с любимым, стояла в дверях. На её лице застыло выражение идеально разыгранного шока, а в глазах стояли настоящие слёзы. Только это были слёзы не горя, не сострадания к сестре. Это были слёзы триумфа, чистого, незамутнённого торжества, который я распознала лишь годы спустя, прокручивая эту сцену в памяти бессонными ночами.

Меня не выгнали из дома за один день. Это было бы слишком милосердно. Меня оставили, но превратили в прокажённую, в парию, в ту, на кого страшно смотреть. Я сидела в своей комнате, как в клетке, и смотрела, как в наш дом въезжают корзины с цветами и подарками — это Явуз ухаживал за Селин. На глазах у всех. Официально. Красиво. С размахом, достойным наследника империи Аслан. А моя сестра, моя тень, принимала это с невинностью ангела, опуская ресницы и краснея. Она заходила ко мне по вечерам и плакала, ломая руки, говорила, что не знает, как так вышло, что она не хотела, что это всё дедушка. Она просила у меня прощения, утверждая, что это дедушка заставил её согласиться ради спасения чести семьи. И я, раздавленная, уничтоженная, втоптанная в грязь, верила ей. До последнего, до самого доньшка своей истерзанной души, верила. Потому что не могла поверить в другое. Не могла поверить, что та, кого я носила на руках, могла так со мной поступить.

Гениальность их плана была в том, что они полностью переписали реальность. Я, которая так боялась позора, стала воплощением этого позора для всей семьи. Я стала «ошибкой»,

«пятном», о котором нельзя говорить вслух и которое нужно забыть, как страшный сон. Я не могла оправдаться, потому что меня застали, по сути, с поличным. А те, кто меня подставил, возвысились как спасители чести, как благородные герои, пожертвовавшие собой ради доброго имени рода.

Их свадьба стала для меня последним актом той безжалостной пьесы. Я смотрела на фотографии в соцсетях — меня не пригласили, разумеется, — где моя младшая сестра сияет в белом платье от лучшего стамбульского дизайнера, а Явуз держит её за руку своими сильными, венозными руками, которые когда-то обнимали меня. Я смотрела и понимала, что жива только физически. В доме стояла гробовая тишина, пропитанная стыдом и отчуждением. На меня смотрели либо с укором, либо с брезгливой жалостью. Мама больше не садилась рядом, когда я входила в кухню. Дедушка вовсе перестал замечать моё существование, словно я стала призраком, которого лучше не называть по имени. Селин, моя любимая сестра, теперь жила в другом мире — в роскошных апартаментах на берегу Босфора, в особняке семьи Аслан, — а я задыхалась в четырёх стенах, где каждая половица, каждая трещинка на потолке напоминала мне о моём «падении».

Спустя три дня после свадьбы, когда гости разъехались, а дом опустел, я поняла: ещё одна ночь здесь — и я исчезну навсегда. Не физически. А как личность. Я перестану быть Мелисой. Я стану «той самой», о ком шепчутся за спиной, кого ставят в пример как позор рода Кылынч. Мне было двадцать, но я чувствовала себя старухой, у которой отняли будущее без права на обжалование.

Поздним вечером, когда дом погрузился в сон, в мою дверь тихо, почти неслышно постучали. Вошли они — мои братья, моя единственная защита, которую у меня не смогли отнять. Старший, **Эмир**, высокий и широкоплечий, с вечно хмурым лицом, будто высеченным из скалы, но с сердцем, полным невысказанной, с трудом сдерживаемой нежности ко мне. За ним — **Барыш**, средний, самый рассудительный, с умным, цепким взглядом; его спокойный, размеренный голос всегда умел унять любую бурю. И младший из старших, **Керем**, которому едва исполнилось двадцать четыре, но в его глазах уже читалась мужская суровость, смешанная с мальчишеской преданностью сестре.

Они не говорили громких слов. Эмир молча положил на стол пухлый конверт с деньгами. Барыш присел на край моей постели и взял за руку — тёплую, дрожащую:

— Мелиса, мы знаем, что ты ни в чём не виновата. Мы не знаем, как это случилось, но знаем — ты не могла сделать то, в чём тебя обвиняют. Ты наша маленькая чистая сестрёнка, и останешься ею навсегда. Дом стал для тебя тюрьмой. Мы поможем тебе уйти.

Керем наклонился и прошептал мне на ухо, словно в детстве, когда мы прятались от грозы:

— Зейнеп ждёт тебя в Анкаре. Я уже купил билет на автобус. Рейс завтра в шесть утра. Мы проводим, проследим, чтобы никто не узнал.

Слёзы брызнули из глаз, горячие, неудержимые. Я не просила, не ждала — они всё решили сами. И в тот миг я поняла: даже если весь мир ополчится на меня, эти трое будут стоять за моей спиной нерушимой стеной. Мама и дедушка могут отвернуться, отец может молчать, но братья останутся.

Я ушла на рассвете, пока небо над Стамбулом только начинало сереть, окрашивая купола мечетей в розовато-золотистые тона. На мне было скромное платье, в руках — маленькая сумка с вещами, которые не хранили запаха этого дома. Эмир молча обнял меня у ворот, сжал до хруста и отвернулся, пряча повлажневшие глаза. Барыш прижал к себе так крепко, словно пытался вложить всю свою любовь в это объятие. Керем запрыгнул в такси и поехал со мной до самого автовокзала — всю дорогу держал за руку и рассказывал дурацкие шутки, чтобы я не плакала. И только когда автобус тронулся и Стамбул начал уплывать назад, он отвернулся и, кажется, заплакал, как ребёнок. Я видела это в окно.

Анкара встретила меня равнодушным шумом, серым небом и запахом свободы — горьковатым, но пьянящим. На автовокзале стояла Зейнеп — моя подруга, единственная душа, не замешанная во всём этом кошмаре. Она не задавала вопросов, не требовала объяснений. Просто раскрыла объятия и прижала к себе, пахнущую дорожной гарью и слезами. У неё была крохотная съёмная квартира на окраине, но там было тепло, и впервые за долгое, бесконечно долгое время я почувствовала себя в безопасности.

Связь с семьёй оборвалась мгновенно, словно перерезали последнюю нить. Узнав о моём побеге, дедушка объявил меня «отрезанным ломтём» — по-турецки это звучало ещё страшнее, окончательнее. Мой номер удалили из семейного чата, мама перестала отвечать даже на поздравления с праздниками. Селин, разумеется, молчала. Только трое мужчин, трое моих братьев, продолжали видеть во мне Мелису. Ту самую девочку с косичками, которая когда-то забиралась к ним на колени и верила в чудеса.

Они звонили каждую неделю. Сначала Эмир коротко спрашивал: «Ты жива? Есть что кушать?» — и слушал мой голос, словно убеждаясь, что я ещё держусь. Барыш подбадривал: «Ты сильная, сестрёнка. Мы тебя вытащим. Потерпи. Всё наладится». А Керем однажды прислал перевод со смешной подписью: «На самый вкусный донер в Анкаре. Не смей голодать. Целую в нос, как в детстве». Я плакала, смеялась и плакала снова, и эти слёзы были целительными.

Первые недели в Анкаре слились в один бесконечный, монотонный день. Я пыталась раствориться в ритме огромного города, в его шуме и равнодушии, чтобы забыть себя. Зейнеп помогала мне с работой — нашла место администратора в небольшом салоне красоты, где не задавали лишних вопросов. Я вставала рано, возвращалась поздно, падала без сил в кровать и благодарила небеса за то, что у меня нет времени думать. Но тело, в отличие от разума, помнило всё. Оно хранило свои тайны.

Примерно через месяц после приезда я начала замечать странности. Сперва тошнота по утрам, которую я списывала на стресс, на недосып, на что угодно. Потом отвращение к запаху кофе — того самого, который Зейнеп так любила заваривать на крохотной кухне. Меня начинало мутить от одного только аромата, выворачивать наизнанку. А через пару дней я вдруг поняла, что забыла о своём календаре. И тишина внутри меня, которая раньше была привычной, теперь стала подозрительной, звенящей, пугающей.

В тот вечер, когда подозрения переросли в ледяной, сковывающий ужас, я сидела на краю ванной, сжимая в руке аптечный тест. Зейнеп стояла рядом, прислонившись к дверному косяку, и молчала. Она не уговаривала, не давила — просто была рядом, и это молчаливое присутствие значило больше любых слов. Две полоски. Я смотрела на них, и мир перед глазами расплывался, терял очертания. Две полоски, словно два приговора. Внутри меня зародилась новая жизнь — крохотная точка, которая несла в себе кровь моего предателя. Кровь Явуза.

Я не помню, как Зейнеп вывела меня из ванной, усадила на диван и укутала пледом. Не помню, сколько времени просидела, уставившись в одну точку на стене, не видя ничего перед собой. Помню только, как она взяла моё лицо в свои ладони и сказала:

— Мелиса, дыши. Просто дыши. Ты не одна. Слышишь? Ты не одна. Мы справимся.

Это был удар, к которому я не была готова. Я сбежала от позора, от предательства, от сестры, укравшей мою жизнь. Но судьба, казалось, смеялась мне в лицо. Ребёнок. Ребёнок от мужчины, который играл мной, как куклой, и который теперь спал в постели моей сестры. Это было жестоко. Это было почти смешно в своей трагичности. Это был приговор, обжалованию не подлежащий.

Я выплакала все слезы, что скопились за месяц. А потом, когда внутри образовалась пустота — выжженная, бесплодная, — я почувствовала нечто новое. Не радость, нет. Скорее, упрямство. Этот ребёнок не просился в мой живот. Он не выбирал, кто его отец. Но он был

частью меня. Частью той Мелисы, которая верила в любовь, которая была чиста перед Богом и людьми, сколько бы грязи на меня ни вылили.

Поздней ночью, когда Зейнеп уснула тревожным, неглубоким сном, я вышла на балкон с телефоном в руке. Дрожащими пальцами набрала братьям в наш тайный чат, который они создали для меня одной: «Мне нужно вам кое-что рассказать». И отправила.

Ответ пришёл незамедлительно. Видеозвонок. На экране появились сразу три лица — Эмир, Барыш, Керем. Каждый смотрел с тревогой, с затаённым страхом. Я глубоко вдохнула и сказала, глядя в их глаза, ставшие моим единственным окном в родной мир:

— Я беременна. От Явуза.

Повисла тишина. Керем выругался сквозь зубы и отвёл взгляд. Барыш прикрыл глаза и, кажется, начал молиться про себя. Эмир, старший, мой защитник, сжал челюсти так, что казалось зубы вот-вот начнут крошиться. Когда он заговорил, голос его вибрировал от сдерживаемой ярости:

— Я убью его. Клянусь Аллахом, если он подойдёт к тебе...

— Тихо, Эмир, — перебил Барыш. — Сейчас не это важно. Мелиса, ты... ты понимаешь, что это значит? Ты готова? Мы поможем, что бы ты ни решила. Хочешь — приедем и заберём тебя. Хочешь — оставайся в Анкаре, мы будем слать всё, что нужно. Ты не останешься одна с этим.

Керем, самый младший из них, но всегда самый чуткий, посмотрел на меня влажными глазами и сказал:

— Сестрёнка, это будет наш племянник. Или племянница. И наплевать, кто его отец. Главное — кто его мать. Ты — Мелиса. Наша чистая девочка. Мы не дадим тебя в обиду.

В ту ночь я поняла, что жизнь, зародившаяся внутри меня — это не проклятие. Это мой шанс. Шанс доказать, что я сильнее их предательства. Что я смогу вырастить человека, который будет гордиться своей матерью, а не стыдиться её прошлого. Я не собиралась возвращаться в Стамбул и тыкать Явузу в лицо справкой из клиники. Я не хотела, чтобы этот ребёнок стал инструментом мести. Я просто решила жить. Ради него. Ради себя. Ради тех, кто верил в меня, когда родная кровь предала.

Зейнеп на следующее утро обняла меня и сказала: «Значит, будем растить вдвоём. У меня, знаешь ли, всегда была мечта стать тётей». И мы смеялись сквозь слезы, две одинокие души в огромной Анкаре, у которых теперь была общая тайна, общая цель и общая надежда.

А там, в Стамбуле, Селин носила фамилию Аслан и, быть может, уже тоже вынашивала его ребёнка. Но это больше не имело значения. Моя жизнь отныне принадлежала только мне и тому крохотному сердцу, которое уже билось под моим собственным. И однажды, когда придёт время, я расскажу ему правду. Всю. О любви, которая ослепила меня, о сестре, которая предала, и о братьях, которые спасли. А пока... пока я просто училась быть счастливой заново. С новым смыслом внутри.

Глава 2 Мелиса

Настоящее время

За эти восемь лет изменилось всё. Или почти всё.

Стамбул остался там же, где и был — на берегах Босфора, пропитанный криками чаек, запахом жареных каштанов и горьким дымом моих воспоминаний. Селин всё так же носит его фамилию и улыбается на камеру светской хроники — я иногда натыкалась на эти снимки в интернете, когда бессонными ночами листала новости, и каждый раз закрывала вкладку быстрее, чем сердце успевало кольнуть. Но это больше не имело надо мной власти. Потому что главное, что изменилось за эти годы — я сама.

Утро начиналось, как обычно, с маленькой катастрофы под названием «опаздываем в школу».

Мой сын, мой маленький Эфе — мальчик с глазами цвета грозового неба, унаследованными от отца, и сердцем, полным доброты и озорства, унаследованным от меня, — категорически отказывался надевать ту шапку, которую я ему приготовила. Ему непременно нужна была другая, с динозавром. Та самая, которую мы в прошлые выходные покупали в торговом центре, и которую он углядел на витрине с таким восторгом, будто обнаружил живого тираннозавра.

— Мама, ну пожалуйста! — он стоял в прихожей, взъерошенный после сна, в одном носке и с рюкзаком, перекинутым через плечо. — Стегозавр должен пойти со мной! У нас сегодня контрольная по математике, а он приносит удачу!

Я присела перед ним на корточки и поправила воротник его рубашки.

— Стегозавры жили сто пятьдесят миллионов лет назад, Эфе. Боюсь, в математике они не очень сильны. Но спорить не буду. Неси своего динозавра, только быстро. Мы опаздываем.

Он умчался в свою комнату, стуча пятками по паркету, а я на секунду прикрыла глаза и улыбнулась. Поймала себя на мысли, что счастлива. Просто счастлива. Без оговорок. Без оглядки на прошлое. Без страха, что кто-то придет и отнимет это счастье.

Закинув своё маленькое чудо в школу и чмокнув его в тёплую макушку, пахнущую детским шампунем и утренним солнцем, я постояла у ворот, глядя, как он бежит к друзьям. Эфе обернулся на полпути и помахал мне рукой — шапка с динозавром съехала набок, рюкзак подпрыгивал за спиной. Я помахала в ответ, села в машину и на несколько секунд закрыла глаза. Тишина. Можно выдохнуть.

А потом — рывок в реальность. Сегодня меня ждали в операционной. Сегодня я должна была держать в руках чужое сердце.

Да, я стала кардиохирургом. Тем самым врачом, на которого когда-то молилась семья Явуза, построившая свою империю на сердцах — и не только. Какая ирония судьбы, не правда ли? Тот, кто разбил моё сердце, даже не догадывался, что я своими руками научусь чинить чужие.

Я не просто отучилась в медицинском — я вгрызалась в знания, как голодный зверь. За моими плечами шесть лет университета, два года ординатуры по сердечно-сосудистой хирургии, бессонные ночи над атласами коронарных артерий и гемодинамики, сотни часов в учебных лабораториях, где я тренировалась на силиконовых моделях, пока пальцы не начинали сводить судорогой. Я знала, что никогда не смогу вернуться в Стамбул и работать в клиниках «Аслан» — слишком тесен мир, слишком много знакомых фамилий, слишком много людей, которые помнили меня другой. Помнили наивной девчонкой, которую вышвырнули из семьи с позором. Но Анкара приняла меня, дала шанс. И я его не упустила.

Я вошла в ординаторскую, ещё не зная, что этот день станет для меня переломным.

Вчерашняя операция всё ещё стояла перед глазами. Моя первая по-настоящему самостоятельная. Аневризма восходящего отдела аорты с угрозой расслоения. Пациент — мужчина

пятидесяти трёх лет, которого привезли с болевым шоком. Жена бежала за каталкой по коридору, цеплялась за поручни, кричала что-то сквозь слезы — я не слышала слов, только интонацию. Так кричат, когда боятся, что больше никогда не увидят родного человека живым.

Это была битва.

Помню, как мои пальцы, затянутые в стерильные перчатки, впервые держали скальпель над открытым сердцем. Помню характерный треск распиливаемой грудины, металлический запах крови и абсолютную, звенящую тишину в операционной, нарушаемую только ритмичным писком мониторов. Переход на искусственное кровообращение — момент, когда сердце пациента останавливают, и вся ответственность ложится на аппарат АИК и на руки хирурга. На мои руки.

Девять часов в операционной. Девять часов абсолютной концентрации, когда мир сузился до размера небольшого участка сосуда. Я иссекала измененный участок аорты, готовила сосудистый протез, накладывала шов за швом — каждый стежок должен быть ювелирным, потому что от него зависит, будет ли этот мужчина снова обнимать жену, видеть внуков, смеяться. Анестезиолог, пожилой мужчина с уставшими глазами, которого все звали просто дядя Рыза, работал молча, лишь изредка бросая на мониторы быстрые взгляды.

Когда я накладывала последний шов, руки предательски дрожали.

— Отпускай зажим, Мелиса, — тихо сказал дядя Рыза. — Ты справилась.

Я отпустила зажим. Кровь побежала по протезу. И на мониторе восстановилась синусовая кривая — ровная, красивая, словно музыка. Сердце забило снова. Само.

Я едва не разрыдалась прямо в маске.

Помню, как вышла в предбанник, стянула шапочку, и мои волосы рассыпались по плечам. Ноги гудели так, будто я пробежала марафон. Но внутри пело что-то невероятное, эйфорическое. Я стояла, прислонившись спиной к холодной кафельной стене, и пыталась осознать: я только что своими руками вернула человека с того света. Я. Мелиса. Та самая, которую когда-то назвали позором семьи.

Ко мне подошёл заведующий отделением, мой наставник — суровый, немногословный профессор Коркмаз, который за два года похвалил меня от силы трижды. Он остановился напротив, снял очки и посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Я приготовилась к очередному сухому замечанию — он всегда находил, к чему придраться, даже после самых успешных операций.

Но он сказал другое.

— Сегодня, Мелиса Ханым, вы не просто провели операцию. Вы спасли человека. И сделали это блистательно. Можете собой гордиться.

Он развернулся и ушёл, не дожидаясь ответа. А я осталась стоять в пустом коридоре, чувствуя, как к горлу подступает ком, и позволяя себе — впервые за долгое время — просто порадоваться. Просто принять похвалу. Просто поверить, что я на своём месте.

Я ехала домой сквозь анкарские пробки и думала. Думала о том, как странно устроена жизнь.

Явуз и его семья лечили сердца за деньги, за статус, за продолжение династии. Для них пациент был строкой в бухгалтерском отчете, строчкой в резюме, ступенькой к очередной сделке. Я помнила эти разговоры за семейными ужинами: «Мы открываем новый корпус», «Мы подписали контракт с министерством», «Мы расширяем сеть». Никогда — «Мы спасли пациента». Никогда — «Этот человек будет жить». Только цифры, проценты, прибыль.

Я же держала в руках человеческое сердце и возвращала его к жизни не ради славы. Ради самого биения. Ради того, чтобы чей-то сын не потерял отца. Чтобы какая-то женщина не стала вдовой. Чтобы мой маленький мальчик по имени Эфе однажды смог сказать: «Моя мама — лучший кардиохирург. Она чинит сердца».

Вчера вечером, когда я забирала сына из школы, он бросился ко мне с рисунком в руках. Бумага была измята по краям — видимо, он весь день носил её в рюкзаке, дожидаясь момента, когда сможет показать мне.

— Мама, смотри! Я нарисовал нашу семью!

На кривоватом детском рисунке были мы вдвоём, держащиеся за руки, а рядом — три большие фигуры в схематичных костюмах. «Дядя Эмир», — было подписано печатными буквами над одной. «Дядя Барыш», — над второй. «Дядя Керем», — над третьей. А в углу, совсем маленькая, была пририсована фигурка с крыльями и подпись: «Тетя Зейнеп, ангел».

Я прижала его к себе и почувствовала, как бьётся его сердце — маленькое, частое, живое. Он не знал, что такое предательство. Не знал, что у него есть отец, который однажды вычеркнул его ещё до рождения. Для него семья — это те, кто рядом. Те, кто любит. Те, кто приходит на дни рождения и приносит подарки. Эмир, Барыш, Керем — мои братья, которые тайком приезжали в Анкару все эти годы, которые слали деньги, когда я училась и не могла работать, которые плакали вместе со мной, когда родился Эфе. И Зейнеп — моя подруга, моя сестра не по крови, а по духу, та самая двадцатилетняя девчонка, которая встретила меня на автовокзале, когда я приехала в Анкару с одним чемоданом и разбитым сердцем. Она не задавала вопросов. Просто обняла меня и сказала: «Ты дома».

И я поняла: моя самая сложная операция была не вчера. Она длилась все эти восемь лет. Операция на собственной душе, которую я штопала нитками воли, надежды и любви к этому мальчику. Каждый день — новый шов. Каждый месяц — новый рубец, который со временем становился крепче прежней ткани. И вот теперь я стояла. Цельная. Живая. Счастливая.

Селин и Явуз украли моё прошлое. Но будущее я построила сама. Своими руками. Тем более, что теперь эти руки умеют возвращать к жизни даже тех, кто уже почти перестал дышать.

Сегодня в больнице выдался тяжелый день, хотя у врачей других и не бывает. Внеплановый консилиум, разбор сложного случая, три послеоперационных пациента, которых нужно было проверить, бесконечные истории болезни, которые требовали подписи и правок. К тому моменту, как я вышла из клиники, солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо над Анкарой в оттенки розового и оранжевого.

Я сидела в машине, не торопясь заводить двигатель. Тишина была почти осязаемой — густой, обволакивающей, как вата. За окном проплывали машины, спешили куда-то прохожие, зажигались первые фонари, но всё это казалось далеким, не имеющим ко мне отношения. Я всё ещё прокручивала в голове вчерашнюю операцию, слова профессора Коркмаза, рисунок сына. И думала о том, что жизнь, кажется, наконец-то вошла в ровное русло. Штиль после долгого шторма.

Телефон завибрировал на пассажирском сиденье.

Я бросила взгляд на экран. «Брат Барыш». Улыбнулась машинально — он звонил обычно по вечерам, когда знал, что я уже не в операционной, чтобы поболтать о пустяках, спросить об Эфе, рассказать что-нибудь смешное про Керема, который вечно попадал в нелепые истории. Я потянулась к телефону и уже хотела ответить шуткой — у меня была заготовлена пара фраз про его новую девушку, которую он в прошлый раз описывал с таким восторгом.

Но что-то остановило меня.

Внутри что-то тревожно сжалось. Необъяснимое, иррациональное чувство — то самое, которое иногда просыпается без причины и заставляет сердце пропустить удар.

Я сбросила звонок и перезвонила сама, уже сворачивая к обочине.

— Братик, привет, — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал легко. — Что-то ты поздно сегодня. Я уж думала, ты забыл свою любимую сестру.

Пауза.

Всего одна секунда. Но в этой секунде поместилось всё. Я услышала, как он дышит — тяжело, сбивчиво, словно после бега. Услышала какой-то далекий гул на заднем плане — боль-

ничный гул, я узнала его мгновенно, этот специфический шум коридоров, писк приборов, приглушенные голоса.

— Мелиса... — выдохнул он в трубку.

И в этом единственном слове я услышала всё. Беду. Страх. Бессилие.

— Барыш, что случилось? — мой голос изменился мгновенно, стал собранным, жестким. Годы практики взяли свое — когда поступает экстренный пациент, нет времени на панику. Только действие.

— Мелиса, деду стало плохо. Сердце.

Каждое слово он выдавливал с трудом. Я слышала, как дрожит его голос — Барыш, который всегда был самым спокойным из братьев, который умел шутить в любой ситуации, сейчас едва справлялся с собой.

— Мы в районной больнице. Привезли час назад. Он просто... просто упал. За обедом. Сидел, разговаривал с Керемом, а потом вдруг побелел и рухнул лицом в тарелку. Врачи сказали — перевозить нельзя. Нестабильная гемодинамика... что-то там с клапанами, с аортой... мы ничего не понимаем, Мелиса. Они говорят какими-то терминами, а у меня в голове пусто. Я никогда не видел его таким. Он серый, как земля. Лежит, не двигается, дышит через раз. И они говорят, что оперировать надо срочно, прямо сейчас, но здесь не берутся — нужен кардиохирург высокой квалификации.

Внутри у меня что-то оборвалось и одновременно встало на место двойным щелчком. Как будто какой-то механизм, который я считала сломанным, вдруг заработал снова. Дед.

Тот самый дед, чей взгляд испепелил меня восемь лет назад. Тот самый, кто сидел во главе стола, когда семейный совет выносил мне приговор. Кто сказал, глядя мне прямо в глаза — я до сих пор помню каждую морщину на его лице в тот момент: «У меня больше нет внучки. Мелиса Кылынч умерла для этой семьи». Тот самый, кто молча смотрел, как меня вычёркивают из семейных альбомов, из истории рода, из жизни людей, которых я любила больше всего на свете. Кто не ответил ни на одно моё письмо. Кто не приехал, когда родился Эфе — хотя я знала, что братья рассказали ему.

И сейчас его сердце — то самое сердце, которое когда-то билось для меня ровно, которое слушало мои детские секреты, которое смеялось над моими шутками, а потом захлопнулось на замок, — отказывало. Отказывало прямо сейчас, пока я сидела в машине на обочине анкарской дороги и слушала, как плачет мой брат.

— Барыш, — я перебила его, потому что уже знала следующий ход. Мозг врача работал быстрее эмоций. — А к Явузу с Селин вы обращались? В их сети клиник должны быть кардиохирурги. Хорошие кардиохирурги. «Аслан» — одна из крупнейших сетей в стране, у них есть всё необходимое оборудование.

Барыш горько усмехнулся в трубку. Это был не смех — это был звук, который издает человек, когда последняя надежда рушится.

— Обращались, Мелиса. Конечно обращались. Первым делом. Я звонил Селин лично.

— И?

— Она сказала... — он запнулся, подбирая слова. — Она сказала, что это слишком рискованно. Слишком высокий процент летальности. И что их клиники не могут позволить себе такую репутационную потерю в случае неблагоприятного исхода.

Я почувствовала, как внутри всё холодеет.

— Она так и сказала? «Репутационную потерю»?

— Слово в слово. Я чуть трубку не разбил. Она говорила спокойно, Мелиса. Как о погоде. Как о том, что на ужин подают. «Барыш, пойми, это бизнес. Мы не можем рисковать статистикой успешных операций ради одного пациента, даже если это ваш дед». А Явуз... Явуз даже трубку не взял. Передал через секретаря, что находится на важной конференции и не может отвлекаться.

Я закрыла глаза. Перед внутренним взором встало лицо Селин — такое, каким я запомнила его в последний раз. Холодное. Расчетливое. Торжествующее. Она победила. Она получила всё, что хотела: фамилию, статус, деньги, мужа. А теперь она была готова дать умереть старику, который когда-то принял её в семью, просто потому, что его смерть была неудобной. Потому что неудачная операция могла испортить красивую статистику клиники. Потому что бизнес важнее жизни.

Я открыла глаза.

— Так... — я на секунду прикрыла веки, собираясь с мыслями. — Пришли мне название больницы и всё, что у них есть: данные ЭХО-КГ, коронарографию, если делали, актуальные показатели, заключение дежурного кардиолога. Всё, что есть, Барыш. Каждую бумажку. Я договарюсь с главным на командировку в Стамбул.

— Сестрёнка... — выдохнул Барыш, и в его голосе смешались надежда и страх. — Ты уверена? Ты столько лет не была там. Если кто-то узнает... Если Селин узнает, что ты вернулась... Она же может что угодно сделать. У неё теперь связи, влияние, деньги...

— Барыш, послушай меня. — Я почувствовала, как во мне просыпается та самая Мелиса, которая выгрызала себе место в ординатуре, которая не спала ночами над учебниками, которая доказывала каждому скептику, что она не просто «девочка из богатой семьи», а врач. Врач до мозга костей. — Я сменила фамилию. Уже давно. К семье Кылынч я не имею никакого отношения ни по документам, ни по духу. Я — Мелиса Эроглу, кардиохирург федерального центра. И если я приеду как приглашённый специалист, никто не задаст ни одного вопроса. Районная больница запросила помощь — федеральный центр направил хирурга. Всё чисто. Всё по протоколу.

Я сделала паузу, перевела дыхание. Почувствовала, как сердце колотится где-то в горле.

— Эфе с собой не возьму. О нём как не знали в Стамбуле, так пусть и не знают. Он слишком мал, чтобы понимать эти игры. И слишком чист, чтобы я позволила хоть кому-то из них посмотреть в его сторону. Зейнеп присмотрит за ним, она всегда рада. Я скажу, что срочная командировка. Он поймёт. Он у меня умный мальчик.

— Мелиса... — Барыш, кажется, хотел сказать что-то ещё. Возможно, попросить прощения. Возможно, сказать, что он не заслуживает такой сестры. Возможно, просто выдохнуть моё имя, как молитву.

— Барыш, всё в порядке, — я заставила голос звучать твердо. — Я счастлива своей жизнью. У меня есть сын, у меня есть любимое дело, у меня есть вы — мои братья, моя настоящая семья. Вы ни разу не предали меня за эти годы. Вы приезжали, когда никто не видел. Вы помогали, когда у меня не было ни гроша. Вы были со мной в самую страшную ночь моей жизни и держали меня за руку. Я ничего не забыла.

Я перевела дыхание.

— А что касается деда... я сделаю ему операцию. Потому что я — хирург. Это моя работа. И потому что он — мой дед, даже если он вычеркнул меня из своей жизни. Даже если он не хочет меня видеть. Даже если он умрёт и не узнает, что операцию делала я. Я не опущусь до того, чтобы отвечать предательством на предательство. Иначе чем я буду отличаться от Селин?

В трубке повисла тишина. Долгая. Наполненная невысказанными словами.

Я слышала, как Барыш сглотнул на том конце провода.

— Я тебя люблю, сестрёнка, — сказал он наконец. Глухо, надтреснуто. — Ты... ты невероятный человек. Я позвоню, как только всё соберу. Жди информацию.

— Жду. Держитесь там. Я скоро буду.

Я сбросила звонок. Посидела ещё несколько секунд, глядя на экран телефона — на фотографию Эфе, которая стояла на заставке. Он смеялся, шурился от солнца, и шапка с динозавром сползла ему на лоб. Мой сын. Моя жизнь. Моя причина просыпаться по утрам.

А потом завела двигатель и развернула машину обратно в сторону больницы.

Я возвращалась в город, который меня изгнал. Я возвращалась, чтобы спасти человека, который от меня отрёкся. И никто в Стамбуле не знал, что за этой простой фамилией — Эроглу — стоит не просто столичный кардиохирург. За ней стою я. Их позор. Их призрак. Их последняя надежда.

Доехав обратно в клинику, я не стала терять ни минуты. Анкара уже потихоньку зажигала свои холодные огни, вышивая светящимися пунктирами карту моей новой жизни — города, который стал моим спасением. Я припарковалась на своём обычном месте, схватила сумку и быстрым шагом направилась к служебному входу. Охранник на проходной, дядя Осман, пожилой мужчина с пышными усами, кивнул мне, как старой знакомой:

— Доктор Мелиса, вы опять? А я думал, вы домой уехали час назад. Совсем себя не бережете, дочка.

— Дела, дядя Осман, — я улыбнулась ему мельком. — Спокойной смены.

— И вам не болеть! — отозвался он привычной присказкой.

Поднимаясь на третий этаж, я прокручивала в голове клинические варианты. Острая патология аорты — возможно, расслоение, возможно, аневризматическое расширение с признаками начинающегося разрыва. Могла быть и клапанная патология — критический аортальный стеноз, который слишком долго откладывали. Если гемодинамика нестабильна, это плохой знак. Очень плохой. Счет может идти на часы.

Главный врач нашей больницы — Алем Булут — был не просто моим руководителем. Он был мужем Зейнеп. Той самой Зейнеп, которая восемь лет назад, двадцатилетней девчонкой с горящими глазами и безграничной верой в справедливость, встретила меня на автовокзале с распахнутыми объятиями. Я приехала в Анкару на рассвете, с одним чемоданом, в котором поместилась вся моя прежняя жизнь, и с ребенком под сердцем, о котором еще никто не знал. Зейнеп ничего не спросила. Просто забрала меня с вокзала, привезла в свою крошечную квартиру, налила чай и сказала: «Всё будет хорошо. Ты дома». С этого началась наша дружба. Дружба, которая выдержала всё: мои ночные истерики, мою бедность, мою учебу, рождение Эфе, бессонные ночи, когда мы вдвоем качали моего сына по очереди, потому что я валилась с ног. Зейнеп стала мне сестрой. Настоящей.

Алему тридцать четыре — по современным меркам он невероятно молод для должности главного врача крупного федерального центра. Но он был из той породы людей, которые рождаются с внутренним стержнем. Я помню, как Зейнеп познакомила нас три года назад — она тогда сияла от счастья, а я смотрела на Алема с профессиональным прищуром и думала: «Если ты обидишь мою сестру, я лично проведу тебе операцию на сердце. Без наркоза». Но он не обидел. Он оказался тем самым человеком — надежным, честным, преданным. Когда я заканчивала ординатуру и искала работу, именно Алем взял меня в свою клинику. Сказал: «Мне нужны хирурги, которые умеют думать, а не просто выполнять приказы. Ты подходишь». И ни разу не дал повода усомниться в этом решении.

Я подошла к двери с табличкой «Алем Булут — главный врач». Коридор был пуст — рабочий день давно закончился, и только редкие лампы дежурного освещения отбрасывали длинные тени на пол. Я перевела дыхание и постучала.

— Войдите! — раздался знакомый низкий голос.

Я нажала на ручку и вошла. Алем сидел за столом, заваленным бумагами. Перед ним стояла чашка с остывшим кофе, а сам он выглядел уставшим — под глазами залегли тени, галстук был ослаблен, рукава рубашки закатаны до локтей. Увидев меня, он откинулся в кресле, снял очки и потёр переносицу.

— Мелиса? Заходи. Что-то случилось? Ты же домой уехала час назад. Эфе в порядке? Зейнеп звонила, кстати, искала тебя — хотела спросить что-то про выходные.

— Эфе в порядке, он дома, я уже отзвонилась Зейнеп, она за ним присматривает. Я... — я запнулась, подбирая слова. — Алем, у меня к тебе личная просьба. Не как к главному врачу. Как к другу.

Он отложил ручку в сторону, выпрямился в кресле и вопросительно вскинул брови. Усталость с его лица никуда не делась, но взгляд стал острым, внимательным.

— Внимательно слушаю, Мелиса. Присаживайся.

Я опустила на стул напротив него. Сцепила руки в замок — пальцы были ледяными, хотя в кабинете было тепло.

— Алем, мне нужно организовать командировку в Стамбул. Срочную. С разрешением на проведение операции на месте. В районной больнице.

Он моргнул. А затем нахмурился — глубоко, так, как хмурятся люди, которые слышат то, что им очень не нравится.

— В Стамбул? — переспросил он медленно, взвешивая каждую букву. — Мелиса, ты серьёзно? Ты же говорила, что никогда...

— Да. Никогда не вернусь. Знаю. Но ситуация критическая. У них там пациент с острой патологией аорты. Местные хирурги не решаются оперировать — слишком сложный случай. А в клинике Аслан... отказались.

Алем слушал, не перебивая. Его лицо оставалось бесстрастным, но я видела, как он сжал челюсти при упоминании клиники Аслан. Он знал мою историю. Знал всё — Зейнеп, конечно, рассказала ему, ещё до того, как они поженились. Спросила моего разрешения, и я дала его. Потому что между близкими людьми не должно быть тайн.

Когда я закончила, он тяжело вздохнул и откинулся в кресле:

— Ты знаешь, что родственников оперировать нельзя?

Я посмотрела ему прямо в глаза.

— А как ты понял, что родственник? Ах да, клиника Аслан. Ты знаешь эту историю. Мы с ним чужие люди, Алем. Я давно уже не Кылынч. У меня другая фамилия, другая жизнь, другой мир. Для него я умерла восемь лет назад. Так что формально я не оперирую родственника. Я оперирую постороннего пациента в критическом состоянии по запросу из районной больницы. Всё остальное — детали, которые не имеют отношения к протоколу.

Он долго смотрел на меня. В его карих глазах читалось сложное выражение: гордость пополам с тревогой. Я видела, как он просчитывает риски — не для клиники, а для меня. Алем всегда думал о людях, не о статистике. Этим он разительно отличался от тех, кто управлял клиниками «Аслан».

— Ты изменилась, Мелиса, — сказал он наконец. Голос звучал мягче, чем минуту назад. — Я помню тебя, когда Зейнеп впервые познакомила нас. Ты была... сломленная. Затравленная. Ты вздрагивала от каждого телефонного звонка и не смотрела людям в глаза. А теперь...

Он не договорил. Поднялся и подошёл к окну. За стеклом перемигивались огни вечерней Анкары — холодные, далёкие, но почему-то сейчас они казались мне тёплыми. Может быть, потому что я знала: там, в одной из квартир этого города, мой сын делает уроки под присмотром Зейнеп, жуёт бутерброд и, наверное, рисует очередную картинку — на этот раз, наверное, с мамой в белом халате. Он говорил мне как-то: «Когда я вырасту, я тоже буду врачом, как ты. Чтобы помогать людям».

— Хорошо, — сказал Алем, повернувшись ко мне. — Я организую командировку. Оформлю все бумаги, свяжусь с районной больницей, подготовлю приказ. Но у меня есть условия.

Я кивнула, ожидая.

— Первое: ты берёшь с собой ассистента. У нас есть Дениз, молодой, но толковый, он ассистировал на трёх аневризмах. Я не отпущу тебя одну, Мелиса. Одна ты там сгоришь. Второе: ты немедленно сообщаем мне о любых осложнениях. Не геройствуй. Если поймёшь, что

не справляешься — сразу звони. Третье... — он сделал паузу, подбирая слова. — Не дай им себя сломать. Помни, ради кого ты это делаешь. Не ради деда, который когда-то отвернулся от тебя. Не ради мести Явузу и Селин. Ты выше этого. Ты делаешь это ради себя самой. Ради того, чтобы остаться человеком. Ради того, чтобы через десять лет, глядя в зеркало, знать, что ты ни разу не изменила себе.

Я поднялась со стула. Ноги держали уверенно, хотя внутри всё дрожало — не от страха, а от решимости.

— Спасибо, Алем. Я не подведу. Ни тебя, ни клинику, ни себя.

— Я знаю, — он неожиданно улыбнулся — устало, но тепло. — Именно поэтому я согласился. Иди собирайся, времени мало. Я пока свяжусь с их администрацией и подготовлю приказ. Ибрагиму позвоню сам. Выезжайте завтра утром, в шесть. Я распоряжусь, чтобы вам дали машину.

— Я позвоню Зейнеп, предупрежу её, — добавила я, уже взявшись за ручку двери. — Она, наверное, будет волноваться.

— Зейнеп? — Алем усмехнулся. — Она первая скажет: «Наконец-то!» Ты же знаешь, она всегда верила, что однажды ты вернёшься в Стамбул. Не для мести. Для того, чтобы доказать всем, кто ты есть на самом деле.

Я вышла из кабинета, чувствуя, как в груди разливается странное, почти забытое ощущение — смесь ледяного спокойствия и горячей решимости. То самое чувство, которое охватывает хирурга за секунду до первого надреза. Когда сомнения отступают, а остаётся только чистая, незамутненная уверенность: я смогу. Я должна. Я сделаю.

Впереди была бессонная ночь: сборы, созвон с Барышем, логистика, изучение присланных данных ЭХО-КГ. Я знала, что не усну — буду сидеть над медицинскими картами, разбирать снимки, моделировать ход операции, перебирать в уме возможные осложнения и пути их решения. Потом — принять душ, выпить кофе и с первыми лучами солнца выехать в сторону Стамбула. Дорога обратно в прошлое, которое я поклялась себе больше никогда не впускать в свою жизнь.

Но теперь я знала точно: я готова.

За моей спиной — Анкара. Клиника, которая стала мне домом. Наставник, который верит в меня. Подруга, которая стала больше, чем родная кровь. И маленький мальчик с глазами цвета грозового неба, который спит сейчас в своей кровати, обнимая игрушечного динозавра, и не знает, что его мама собирается на войну.

Я больше не та девочка, которая бежала на автобус восемь лет назад, глотая слезы и прижимая к животу руку, под которой билась крошечная, ещё невидимая жизнь. Я — Мелиса Эроглу. Кардиохирург. Мать. Женщина, которая сама построила свою жизнь из пепла, в который её превратили другие.

И я возвращаюсь в Стамбул не затем, чтобы просить прощения.

Я возвращаюсь, чтобы спасти жизнь. Жизнь, которую я когда-то — давно, в другой реальности — любила. И даже если сам человек отрётся от меня, его сердце всё ещё бьётся.

А я теперь умею чинить сердца.

Глава 3 Мелиса

Следующим утром мы вылетели в Стамбул.

Время жалось до каких-то совершенно невыносимых пределов: вчера вечером я стояла в кабинете Алема и уговаривала его подписать командировку, а сейчас мы уже мчались в такси по бульвару Ататюрка в сторону аэропорта Эсенбога. Анкара за окном просыпалась — хмурая, деловая, равнодушная к моим внутренним бурям. Уличные фонари ещё горели, хотя небо на востоке уже наливалось розовым. Идеальное утро для того, чтобы спустя восемь лет шагнуть обратно в прошлое.

Перед выездом я задержалась в квартире ровно на пять минут — ровно столько, сколько потребовалось, чтобы подойти к большому зеркалу в прихожей и посмотреть на себя. Внимательно. Без иллюзий.

Из зеркала на меня смотрела женщина. Не та испуганная двадцатилетняя девчонка с заплаканными глазами и трясущимися руками, которая когда-то стояла на этом же месте, прижимая к животу ладонь, под которой билась крошечная, ещё невидимая жизнь. Нет. В зеркале стояла Мелиса Эроглу — двадцать восемь лет, кардиохирург федерального центра, мать прекрасного сына, обладательница стального позвоночника и спокойного, уверенного взгляда. Я выбрала белый брючный костюм — строгий, безупречно скроенный, тот самый, в котором обычно ходила на конференции и важные встречи. На ногах — чёрные туфли на устойчивом каблуке, в которых можно провести шесть часов в операционной и не рухнуть. На глаза опустила солнцезащитные очки в тонкой золотистой оправе — не столько от солнца, сколько от чужих взглядов.

— Ты готова, — сказала я своему отражению.

Это был не вопрос. Это была констатация факта. Я действительно была готова. Восемь лет подготовки — сначала к экзаменам, потом к ординатуре, потом к операциям — всё это было подготовкой к этому моменту. К возвращению.

Я развернулась и вышла за дверь.

В аэропорту Дениз Кара уже ждал меня у стоек регистрации.

Ему двадцать шесть — высокий, худощавый, с вечно взъерошенными тёмными волосами, которые он имел привычку нервно приглаживать перед каждой операцией, и внимательными карими глазами за стёклами очков в тонкой металлической оправе. Мы работали вместе чуть больше года. Когда Алем распределял новых ординаторов, Дениз достался мне почти случайно — просто его фамилия шла следующей в списке. Но я быстро поняла, что мне повезло. У парня были золотые руки и редкое для его возраста качество: он умел молчать именно тогда, когда это было нужно. Не заполнял тишину пустой болтовнёй, не задавал лишних вопросов. Просто работал.

Сегодня, впрочем, он явно пребывал в приподнятом настроении. Увидев меня, он присвистнул — негромко, но достаточно выразительно:

— Мелиса Ханым, вы выглядите как минимум как глава делегации на международном симпозиуме. Если не как героиня шпионского триллера.

— Вы мне льстите, Дениз, — я позволила себе лёгкую улыбку. — Багаж с оборудованием проверили?

— В полном порядке. — Он мгновенно переключился на деловой тон. — Протезы разных калибров, канюли, шовный материал — я взял и полипропилен, и полиэстер, на случай если будем работать с крупными сосудами. И ещё добавил запасные зажимы Дебейки — в дороге могло что-то повредиться, лучше перестраховаться.

— Хорошо, — кивнула я. — Регистрируйтесь. Вылет через сорок минут.

— А вы, Мелиса Ханым? — он замялся. — Кофе? Я могу принести.

— Нет, спасибо. Я постою у окна. Подышу перед полётом.

Он кивнул и отвернулся к стойке, а я отошла к панорамному окну, выходящему на лётное поле. Самолёты вырливали на взлётную полосу, один за другим, и в их размеренном движении было что-то успокаивающее. Я поймала себя на мысли, что думаю о Зейнеп. Вчера вечером, когда я привезла Эфе к ней домой, она встретила нас в дверях с таким лицом, будто ждала этого звонка последние восемь лет.

— Ну наконец-то, — сказала она тогда, забирая у меня из рук сумку с вещами сына. — Наконец-то ты возвращаешься.

— Я не возвращаюсь, Зейнеп. Я еду в командировку.

Она фыркнула:

— Называй как хочешь. Но я всегда знала, что однажды ты поедешь туда. Не для мести. Для того, чтобы доказать. Всем. И себе в первую очередь.

Эфе, мой мальчик, в этот момент уже увлечённо тащил свою двоюродную сестру Дефне в комнату — строить замок из подушек. Он воспринял новость о том, что мама улетает на несколько дней, с неожиданной для его возраста серьёзностью. Не плакал, не капризничал — только нахмурился, совсем как взрослый, и спросил: «Мама, а ты вернёшься?» Я опустила на корточки, взяла его лицо в ладони — тёплое, родное, с глазами цвета грозового неба — и сказала: «Я всегда возвращаюсь, мой хороший. Всегда. Через три дня я приеду, и мы пойдём в парк аттракционов, обещаю». Он кивнул, обнял меня крепко-крепко — так, что я почувствовала его сердце сквозь тонкую ткань футболки, — и убежал к Дефне. А Зейнеп проводила его взглядом и сказала тихо: «У тебя потрясающий сын, Мелиса. Ты вырастила его одна. Ты уже всё всем доказала».

Я ничего не ответила. Просто обняла её — мою подругу, мою сестру не по крови, а по духу, — и вышла за дверь.

Самолёт набрал высоту, и Анкара быстро превратилась в лоскутное одеяло из серых, коричневых и зелёных квадратов. Я сидела у иллюминатора, откинувшись в кресле, и пыталась сосредоточиться на документах, которые прислал Барыш. Данные ЭХО-КГ, предварительное заключение районных врачей, снимки. Картина вырисовывалась тяжёлая: критический аортальный стеноз, осложнённый, судя по косвенным признакам, начавшимся расслоением восходящего отдела аорты. Если подтвердится — счёт идёт не на дни, на часы. Но даже в этом случае оперировать сразу по прибытии невозможно. Нужна свежая коронарография, нужно полное обследование, нужно стабилизировать пациента перед операцией.

Дениз сидел в соседнем кресле и тоже изучал документы — я видела, как он хмурит лоб, машинально приглаживая волосы.

— Что думаете? — спросила я, не отрываясь от бумаг.

— Если данные точны, — медленно произнёс он, — то случай очень тяжёлый. Кальцинированный клапан, плюс возможное расслоение... Вы такое уже делали?

— Аневризму восходящего отдела — да. В сочетании с клапанной патологией такой степени тяжести — нет. — Я отложила бумаги и посмотрела на него. — Но у нас есть преимущество: мы приедем, проведём полное обследование, изучим свежие снимки и будем оперировать завтра утром, на свежую голову. Это лучше, чем резать с колёс.

Он кивнул:

— Согласен. За ночь можно подготовиться, всё перепроверить, смоделировать ход операции. А пациент продержится?

— Они его стабилизировали. Антигипертензивная терапия, бета-блокаторы, обезболивание. На сутки должно хватить. Если, конечно, не случится резкого ухудшения.

Я отвернулась к иллюминатору. Под крылом самолёта проплывали облака — бесконечное белое море, скрывающее землю. Я думала о том, что операция завтра — это значит, что мне придётся провести в Стамбуле ночь. Ночь в городе, который я поклялась никогда больше не

видеть. Ночь в нескольких километрах от людей, которые когда-то вычеркнули меня из своей жизни. И, вероятно, в той же гостинице, где будут ждать новостей мои братья.

Если бы мне сказали об этом неделю назад, я бы рассмеялась.

Когда самолёт начал снижение над Стамбулом, я почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. Это не было страхом — с чувством страха я была хорошо знакома, как любой хирург. Это было что-то более сложное, более древнее. Словно каждая клетка моего организма узнала этот воздух, этот рельеф, эти очертания минаретов и мостов на горизонте раньше, чем я сама успела осознать. Сердце пропустило один удар — экстрасистола на фоне эмоционального напряжения. Я прикрыла глаза, мысленно перебрала этапы будущей операции и сделала три глубоких вдоха. К тому моменту, когда шасси коснулись полосы, я уже снова была абсолютно спокойна.

Аэропорт встретил нас суетой, громкими голосами и запахом. Тем самым, который я не смогла бы описать словами, но узнала бы из тысячи. Запах Босфора — йодистый, солёный, — смешанный с пряным воздухом большого города и едва уловимым ароматом жасмина откуда-то. В Анкаре воздух другой — сухой, континентальный. А здесь он был влажным, густым, насыщенным. Воздухом моего прошлого.

— Мелиса Ханым, — Дениз деликатно кашлянул за моей спиной. — Я взял багаж. Машину арендовать здесь или...

— Я уже арендовала, — я взяла себя в руки и направилась к выходу. — Идёмте. Сначала в больницу — нужно осмотреть пациента, изучить историю болезни и организовать свежую диагностику. Потом заселимся в гостиницу. Завтра утром — операция.

— А гостиницу вы уже забронировали?

— Да. Недалеко от больницы. Две комнаты. Нам нужно будет выспаться, Дениз. Завтра тяжёлый день.

Он кивнул и прибавил шаг.

Мы выехали на трассу, ведущую в город. За окнами автомобиля проплывал Стамбул — огромный, хаотичный, прекрасный в своей беспорядочности. Я узнавала каждый поворот этой дороги и одновременно чувствовала себя чужой. Как призрак, вернувшийся в места, где когда-то был живым. Вон там, за тем холмом, должна быть бухта — мы с братьями когда-то ездили туда на пикники. А там, в той стороне, старый рынок, куда дед водил меня в детстве за сладостями. Он всегда покупал мне рахат-лукум — розовый, обсыпанный сахарной пудрой, — и говорил: «Только матери не рассказывай, а то она нас обоих заругает».

Дед. Мысль о нём вернула меня к реальности. Я сжала руль крепче.

Сейчас он лежал в палате интенсивной терапии, опутанный проводами и трубками, и его сердце — то самое сердце, которое когда-то билось для меня ровно, — отказывало. И завтра я должна была взять в руки скальпель и вскрыть ему грудную клетку.

Дениз сидел на пассажирском сиденье и молчал. Он был удивительно тактичен — ни разу не спросил, почему я так напряжена, почему так долго смотрела в иллюминатор, почему мы летим в Стамбул по личной просьбе, а не по официальному направлению. Возможно, Алем что-то рассказал ему перед вылетом. Возможно, он просто чувствовал, что сейчас не время для вопросов.

— Мелиса Ханым, — наконец произнёс он, когда мы уже подъезжали к району, где находилась больница. — Я хочу, чтобы вы знали. Я не знаю всех обстоятельств, но... что бы ни случилось в этой больнице, я на вашей стороне. И в операционной, и за её пределами.

Я бросила на него быстрый взгляд. Он не смотрел на меня — глядел прямо перед собой, на дорогу, и лицо его было серьёзным.

— Спасибо, Дениз, — сказала я. — Я это ценю.

— Это меньшее, что я могу сделать, — он пожал плечами. — Вы лучший хирург, с которым я работал. И если я могу чем-то помочь, я помогу.

Я не ответила. Мы как раз подъезжали к больнице.

Белое здание районной больницы выглядело именно так, как я ожидала, — стандартная коробка из стекла и бетона, построенная, судя по всему, в конце девяностых и с тех пор знавшая лишь косметический ремонт. Облупившаяся краска на оконных рамах, потускневшая вывеска над входом, чахлые кусты вдоль фасада. Я заглушила двигатель, сняла руки с руля, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула.

— Приехали, — сказала я. — Берите документацию. Инструменты пока оставьте в машине — сегодня они не понадобятся. Сначала осмотр пациента и диагностика.

Дениз кивнул и вышел из машины.

На входе нас встретил охранник — мужчина лет пятидесяти с седыми висками, усталым взглядом и выправкой отставного военного. Синий форменный китель сидел на нём мешковато, но фуражка была надета безупречно ровно.

— Здравствуйте, — я шагнула вперёд, доставая удостоверение из внутреннего кармана пиджака. — Кардиохирург Эроглу Мелиса из Анкары и ассистент Кара Дениз. Нас здесь ждут.

Охранник неторопливо взял документы. Прочитал их с той особенной дотошностью, которая свойственна людям, привыкшим к порядку. перевёл взгляд на меня — оценивающий, но не враждебный. Затем на Дениза, задержался глазами на наших сумках с документами и, кажется, сделал в уме какую-то отметку.

— Из Анкары, значит? — он вернул удостоверение. — Третий этаж, кардиологическое отделение. Заведующий — доктор Джемиль Илмаз, она вас ждёт. Лифт в конце коридора, но он сегодня барахлит. Можете подняться по лестнице — второй пролёт налево. И...

Он вдруг замолчал, замялся, словно хотел сказать что-то ещё, но не решился.

— Слушаю вас, — сказала я ровно.

— Там... — он бросил взгляд в сторону лестницы и снова на меня. — Там, наверху, много людей. Родственники пациента. Они тут со вчерашнего вечера. Вы будьте осторожнее, доктор. Они все на нервах.

Я кивнула:

— Спасибо за предупреждение.

Мы с Денизом направились к лестнице. Когда мы отошли на достаточное расстояние, он тихо спросил:

— Вы знаете, о ком он говорил?

— Знаю, — ответила я. — Это моя семья.

Дениз запнулся на ступеньке и уставился на меня. Я видела, как в его глазах мелькнуло удивление, потом — мгновенное понимание, а потом — профессиональная собранность. Он ничего не спросил. Просто кивнул и продолжил подниматься.

Лестница была узкой, с вытертыми ступенями и металлическими перилами, выкрашенными в больничный зелёный цвет. Мы поднимались молча. Где-то наверху гудел голосами коридор, и чем выше мы поднимались, тем отчётливее становились эти звуки — приглушённые разговоры, чей-то плач, обрывки фраз, которые невозможно было разобрать. Запах больницы — хлорка, лекарства, тревога — становился всё гуще.

На площадке второго этажа я остановилась.

— Дениз, — сказала я, не оборачиваясь. — Когда мы войдём, вы пойдёте за мной. Что бы ни происходило, я прошу вас ни во что не вмешиваться и ничему не удивляться. Ваше дело — документы, анализы и подготовка к завтрашней операции. Всё остальное я беру на себя.

— Понял, — коротко ответил он. — Я не подведу.

Я толкнула тяжёлую дверь, отделявшую лестничный пролёт от больничного коридора, и сделала шаг вперёд.

А потом замерла.

Прямо по коридору, метрах в пятнадцати от меня, стояла моя семья.

Не вся. Позже я поняла, что не вся — отсутствовали дальние родственники, которых я помнила по семейным праздникам, не было троюродных тётушек и двоюродных дядьёв из других городов. Но в первый момент мне показалось, что здесь собрались все. Потому что в этом узком больничном коридоре с бледно-зелёными стенами и тусклыми лампами дневного света сконцентрировалось всё моё прошлое.

Мой отец, Хакан Кылынч. Он стоял у стены, скрестив руки на груди, и смотрел в пол — в одну точку, неподвижно, как человек, который пытается удержать себя в руках и боится, что любое движение разрушит эту хрупкую конструкцию. За восемь лет он словно усох. Плечи стали уже, в тёмных волосах пробилась обильная седина, а вокруг глаз залегли глубокие морщины. Я помнила его другим — прямым, как струна, громогласным, уверенным в себе. Сейчас передо мной стоял уставший пожилой мужчина, который, кажется, не спал всю ночь.

Рядом с ним, на больничной скамье, обитой потёртым дерматином, сидела моя мать. Филиз Кылынч всегда была красивой женщиной — той особенной, хрупкой красотой, которая с годами не исчезает, а становится тоньше, прозрачнее. Но сейчас она выглядела так, будто из неё вынули весь воздух. Она сидела, сцепив руки на коленях, и раскачивалась вперёд-назад — мерно, как метроном, — и её губы что-то беззвучно шептали. Моя бабушка, Фатьма, сидела рядом и держала её за плечо. Лицо бабушки было бледным, но спокойным — так выглядит человек, который уже много раз терял близких и научился встречать беду с сухими глазами.

Чуть поодаль стояли мои тётя и дядя — Дерья и Бурак, младшая сестра отца и её муж. Они о чём-то тихо переговаривались, склонив головы друг к другу. Ещё дальше, у подоконника, сидели дядя Умут и тётя Айше — брат матери и его жена. Я не видела их ещё дольше, чем остальных. Их дети — мои двоюродные братья и сёстры — сбились стайкой в углу коридора, притихшие и испуганные, как птенцы в грозу.

А потом мой взгляд упал на тех, кого я надеялась увидеть позже. Или не увидеть вовсе.

Селин.

Моя сестра. Моя предательница. Сейчас она выглядела старше меня на целую жизнь, хотя по возрасту она младше. Она стояла, прислонившись спиной к стене и плечом к Явузу, и лицо её было бледным, почти серым, как больничный кафель. Я невольно отметила детали: дорогое тёмно-синее платье, идеальная укладка — волосы уложены волосок к волоску, — бриллиантовые серьги, которые мерцали даже в тусклом свете больничных ламп. Но под этим безупречным лоском угадывалась какая-то измождённость, которая не имела отношения к нынешнему кризису. Так выглядят люди, которые слишком долго притворяются счастливыми. Я знала это лицо. Я сама когда-то смотрела в зеркало и видела там похожее выражение — в те месяцы после предательства, когда пыталась убедить себя, что справлюсь, что всё хорошо, что я сильная.

И он.

Явуз.

Моя первая любовь. Отец моего сына. Он стоял всё с той же небрежной элегантностью, которую я так хорошо помнила: руки в карманах дорогих брюк, дорогие часы на запястье, та же полуулыбка, которая всегда казалась мне обаятельной, а теперь выглядела просто высокомерной. Те же густые тёмные волосы — ни одного седого, — те же серые глаза, которые когда-то смотрели на меня с нежностью. Только теперь взгляд был тяжелее. Словно добавилось в нём за эти годы чего-то тёмного, чего я не помнила. Или не хотела замечать.

И наконец — братья.

Эмир, самый старший. Он стоял чуть поодаль от остальных, обнимая жену Дефне за плечи. Заметив меня первым из всех, он замер, и его лицо изменилось мгновенно: что-то мелькнуло в глазах — боль, надежда, всё сразу.

Барыш — тот, кто позвонил мне вчера. Он стоял ближе всех к ординаторской со своей женой Идиль, и, когда дверь открылась, он уже смотрел в мою сторону — словно ждал, словно

знал, что я приду именно сейчас. Мы встретились глазами, и он едва заметно кивнул. «Ты здесь. Ты приехала. Спасибо» — говорил этот кивок.

И Керем, мой самый младший из старших братьев, с женой Элиф. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, и лицо его было бледным, а глаза — красными. Когда он увидел меня, он вздрогнул всем телом, словно от удара током, и сделал шаг вперёд — но остановился, сдержав себя.

Я смотрела на них — на всех. И время словно дало трещину. Прошлое и настоящее на мгновение слились в одну точку. Восемь лет — восемь долгих лет, наполненных борьбой, болью, учебой, работой, рождением сына, бессонными ночами и маленькими победами, — сжались в одно мгновение. Как будто не было ничего: ни Анкары, ни клиники, ни белого халата, ни вчерашней операции, после которой профессор Коркмаз похвалил меня. Как будто я снова та двадцатилетняя девчонка, которая стоит на пороге отчего дома и не знает, пустят ли её внутрь.

Но только я не была той девчонкой.

Я заставила себя выдохнуть. Медленно, размеренно — так, как учили на курсах по управлению стрессом. Вдох на четыре счета. Задержка. Выдох на шесть. Затем я поправила пиджак — безупречно белый, строгий, — одёрнула манжеты и сняла солнцезащитные очки. Опустила их в карман пиджака и на секунду задержала руку у груди, чувствуя, как под тонкой тканью бьётся моё собственное сердце. Ровно. Спокойно. Никакой экстрасистолы.

Я здесь, чтобы провести обследование, изучить снимки и подготовиться к завтрашней операции. Я здесь, чтобы спасти жизнь. Всё остальное — шум. Помехи. Статика.

Я сделала шаг вперёд. Ещё один. Стук моих каблучков разносился по коридору — гулко, размеренно, неотвратно, словно метроном, отсчитывающий секунды до завтрашнего утра.

Первой меня заметила мама.

Она подняла голову — возможно, просто на звук шагов, — и замерла. Её руки, до этого сцепленные на коленях, разжались. Губы дрогнули. Она приоткрыла рот, словно хотела что-то сказать, но голос пропал — я видела, как дёрнулся её кадык, как часто заморгали ресницы. Слезы потекли по её щекам, но она не издала ни звука.

За ней поднял голову отец. Он посмотрел на меня — и я увидела, как что-то изменилось в его лице. Как будто он увидел призрак. Как будто все эти восемь лет он надеялся, что я исчезну навсегда, — и вот я снова здесь, из плоти и крови, живая и настоящая. Он выпрямился, опустил руки и сделал шаг назад — произвольное движение человека, который не знает, как реагировать.

Бабушка Фатма прижала ладонь к губам. Тётя Дерья замерла на полуслове, заметив меня, и схватила мужа за руку. Дядя Умут привстал с подоконника, но замер в нерешительности.

Селин отшатнулась от стены. Буквально — отшатнулась, как будто я была не человеком, а ожившим кошмаром. Её лицо, до этого бледное, стало белым как мел. Я видела, как она вцепилась в рукав Явуза — резко, судорожно, — и что-то прошептала ему на ухо. Он нахмурился и перевёл взгляд на меня.

Явуз Аслан. Глава медицинской империи. Человек, который привык контролировать всё и всех. Он смотрел на меня — и я видела, как в его глазах одно выражение сменяется другим. Сначала — узнавание. Потом — шок. А потом — что-то ещё, что-то, чему я не могла подобрать название. Это не был страх. Скорее — холодный, расчётливый интерес. Так хищник смотрит на соперника, внезапно появившегося на его территории.

Я продолжала идти.

Мимо заплаканной матери, которая протянула ко мне руку — но я не остановилась. Мимо окаменевшего отца, который смотрел на меня так, будто впервые увидел. Мимо бабушки, которая, кажется, беззвучно произнесла моё имя — старое имя, то, от которого я

отказалась. Мимо Селин, чьё лицо в одно мгновение потеряло всю свою холёность, обнажив под ней панику. Мимо Явуза, чей взгляд я чувствовала кожей — колючий, оценивающий.

Я не остановилась.

Я направилась напрямик к Барышу, который стоял у двери ординаторской — ближе всех к цели. Он смотрел на меня с выражением, в котором смешались облегчение, тревога и что-то ещё, похожее на гордость.

— Где заведующий отделением? — спросила я ровным, деловым голосом, который дался мне удивительно легко. — Доктор Джемил Илмаз. Мне нужно видеть его немедленно. Мы должны успеть провести полное обследование сегодня — завтра утром я планирую операцию.

Барыш моргнул. Потом выдохнул — длинно, прерывисто, словно сбрасывая напряжение последних суток.

— Он ждёт вас внутри, Мелиса Ханым, — сказал он. И впервые за восемь лет мой брат обратился ко мне официально — потому что понял правила игры, в которую мы вступали. — Доктор Илмаз подготовил все документы и историю болезни. Он сказал, что проведёт вас в палату, как только вы будете готовы.

Я кивнула, взялась за ручку двери и, прежде чем войти, на секунду обернулась. Бросила быстрый взгляд на Дениза, который всё это время молча стоял в двух шагах позади меня — белый как мел, но собранный и готовый к работе.

— Дениз, — сказала я, — идите со мной. Ознакомимся с документами и идём осматривать пациента. У нас сегодня много работы.

— Да, Мелиса Ханым, — ответил он.

И я шагнула в ординаторскую.

Глава 4 Явуз

Мир рухнул и пересобрался заново в тот самый миг, когда я увидел её.

Сердце сорвалось в штопор, захлебнулось и забилось где-то в горле, оглушая виски набатом. Передо мной стояла Мелиса. Но другая. Восемь лет смыли с её лица юношескую припухлость щёк, оставив взамен точеную, хищную красоту, от которой перехватывало дыхание. Она стала ослепительной — и я ненавидел себя за то, что заметил это. Заметил, стоя рядом с женой. Заметил, в больничном коридоре, когда её дед умирал в палате. Заметил, потому что ничто не способно убить память о женщине, которая была твоей вселенной.

А ведь когда-то всё было иначе.

Восемь лет назад я полюбил её так, как не любят никогда в жизни. Или, может быть, любят — но только те, кому хватило глупости и смелости отдать себя без остатка. Тогда во мне играл юношеский максимализм, и я шёл напролом, добиваясь её внимания с упорством, которое граничило с одержимостью. Добился. Но оказалось — она умела носить маску.

Когда я впервые увидел Мелису, я перестал дышать. Это не метафора — я помню, как воздух застрял в горле, а сердце пропустило удар. Она была совершенна. Тонкая, как фарфоровая статуэтка, с глазами, в которых дрожала влажная глубина, с волосами, которые падали на плечи тёмной волной, — она стояла на пешеходном переходе, и я едва не сбил её. Мой автомобиль завизжал тормозами в миллиметре от неё. Она испуганно отшатнулась, выронила сумку, и я, выскочив из машины, бросился помогать. Руки у меня дрожали. По-настоящему. Я, наследник империи Аслан, привыкший к контролю надо всем, дрожал, как мальчишка.

Я предложил отвезти её в больницу — она отказалась. Предложил довезти до дома — она сказала, что не сядет в мою машину. И посмотрела на меня так, словно я был не спасителем, а угрозой. Словно сам факт моего существования был для неё оскорблением. Я тогда подумал: «Какая же она чистая. Какая гордая. Какая невинная». Я, избалованный вниманием женщин, которые сами бросались на меня, впервые встретил ту, которая не просто не бросилась, а даже не взглянула с интересом. Это стало вызовом. Это стало началом моего падения.

Потом я увидел её в университете. Она была на втором курсе — юная, восторженная, окружённая подругами. Я стоял в холле и смотрел на неё, не в силах отвести взгляд. Она заметила меня, узнала — её щёки вспыхнули румянцем, — и быстро отвернулась. Это «быстро отвернулась» решило всё. Я должен был узнать её ближе. Должен был понять, кто она такая.

Мы начали говорить. Сначала — короткие, ничего не значащие фразы в коридорах. Потом — разговоры на скамейке во внутреннем дворе, пока другие студенты спешили на лекции. Стояла весна, цвели магнолии, и воздух был сладким от их запаха. Я помню, как она смеялась — запрокидывая голову, прикрывая рот ладошкой, — и от этого смеха у меня каждый раз перехватывало дыхание. Позже, когда наши прогулки стали регулярными, она призналась: сбегать на эти прогулки ей помогает сестра. Селин прикрывает её перед семьёй, говорит родителям, что Мелиса на дополнительных курсах, в библиотеке, у подруги. Я тогда удивился: «У тебя такая верная сестра?» Она улыбнулась и сказала: «Селин — мой ангел-хранитель».

Ангел-хранитель. Как чудовищно это звучит теперь.

Через месяц я предложил Мелисе пойти к её семье и просить её руки. Я хотел, чтобы наши встречи перестали быть тайными. Хотел официальной, определённой, будущего. Но она снова отказалась.

— Дай мне время, Явуз. Я хочу узнать тебя ближе. По-настоящему. Не как наследника Асланов, а как человека. Я не могу выйти замуж за того, кого не знаю. Понимаешь?

Я не понимал. Я злился. Но я согласился. Потому что любил её до умопомрачения, до потери пульса, до готовности ждать столько, сколько потребуется.

Так продолжалось ещё два месяца. А потом мне пришло сообщение.

Я сидел в ресторане с друзьями — шум, смех, звон бокалов. Телефон завибрировал в кармане. Я бросил взгляд на экран. Незнакомый номер. Сообщение:

«Твоя Мелиса — не та, кем кажется. Если хочешь узнать правду, приходи завтра в парк Эмиржан, к старому фонтану. В три часа дня. Или оставайся слепцом и дальше».

Я фыркнул. Подумал — глупая шутка. Удалил сообщение и попытался вернуться к разговору. Но осадок остался. Ночью я не спал. Ворочался, смотрел в потолок и думал: кто мог это написать? Завистник? Брошенная поклонница? Или кто-то, кто действительно знает что-то важное? К утру я решил: пойду. Не потому что поверил. А потому что хотел посмотреть в глаза тому, кто посмел так говорить о моей женщине, и заткнуть ему рот навсегда.

На следующий день в три часа я был в парке Эмиржан. Место и правда было безлюдным — старый фонтан не работал, скамейки вокруг заросли плющом, и только ветер гонял по земле пожухлые листья. Я ждал, засунув руки в карманы, и чувствовал, как внутри закипает раздражение. Если это чья-то глупая шутка — я заставлю шутника пожалеть.

Шаги я услышал раньше, чем увидел её. Лёгкие, торопливые, почти бесшумные. Из-за старых деревьев вышла девушка — тонкая, бледная, закутанная в дорогой шарф, несмотря на тёплую погоду. Я узнал её не сразу. А когда узнал — нахмурился.

— Селин?

Младшая сестра Мелисы. Та самая, которая, по словам моей возлюбленной, была её «ангелом-хранителем». Она выглядела испуганной, но решительной — как человек, который долго собирался с духом и наконец решился.

— Явуз-бей, — сказала она тихим, дрожащим голосом. — Спасибо, что пришли. Я знаю, это выглядит странно. Но я больше не могу молчать.

— О чём вы? — я всё ещё не понимал. — Это вы мне писали?

— Да. Простите, что так. Я не знала, как ещё с вами связаться. Если бы Мелиса узнала, что я хочу с вами поговорить... — она запнулась и машинально коснулась своего плеча. — Она бы меня убила.

Я помню, как нахмурился тогда. Помню, как внутри шевельнулось нехорошее предчувствие.

— Что вы несёте? Мелиса — ваша сестра. Она вас обожает.

Селин горько усмехнулась. А потом задрала рукава.

Я увидел синяки. Старые, жёлто-зелёные, почти зажившие. И новые — багровые, страшные, покрывающие тонкую кожу предплечий. Такие синяки не появляются от случайного падения. Такие оставляют целенаправленные, жестокие удары.

— Это она, — прошептала Селин, и по её щекам потекли слёзы. — Мелиса. Она избивает меня с детства. Сначала — когда родители не видели. Потом — когда они перестали обращать внимание. Она ненавидит меня. За то, что я существую. За то, что я дышу с ней одним воздухом.

Я стоял, не в силах отвести взгляд от этих синяков. Мозг отказывался принимать увиденное.

— Но это не самое страшное, — продолжала она, и голос её упал до шёпота. — Самое страшное случилось пол года назад.

Она замолчала. Её лицо стало серым.

— Она заплатила человеку, чтобы он меня изнасиловал.

Мир покачнулся.

— Что? — выдохнул я. — Вы понимаете, что вы говорите?

— Понимаю, — она кивнула. — Это был какой-то парень. Я не знаю, где она его нашла. Он подстерёг меня вечером, когда я возвращалась с курсов. Схватил, потащил в подворотню... Я кричала. Но он... он успел. Понимаете? Успел.

Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Я стоял, как громом поражённый. Потом она достала из сумочки конверт и протянула мне.

— Вот. Справки из клиники. Обратитесь к врачу, чьё имя там указано. Спросите его. Он подтвердит — меня действительно изнасиловали. А синяки... синяки вы видите сами.

Я взял конверт. Пальцы были ледяными, чужими.

— Почему вы не обратились в полицию? — спросил я хрипло.

— Потому что у меня нет доказательств, что это она наняла того человека. Только её телефон, который я видела мельком. Только сообщение с моей фотографией и суммой. Но я не успела сделать скриншот. Она удалила всё. А полиция... что я им скажу? «Моя сестра монстр»? Меня поднимут на смех. Или, что хуже, расскажут семье. Дедушка не переживёт такого позора. Вы же знаете нашу семью, Явуз-бей. Честь — это всё, что у нас есть.

Она говорила — и я верил ей. Потому что синяки были настоящими. Потому что слёзы были настоящими. Потому что история была слишком чудовищной, чтобы быть выдумкой. Так мне тогда казалось.

— Хорошо, — сказал я. — Я проверю.

И я проверил.

На следующий день я поехал в клинику, чьё название значилось на справках. Врач — пожилой мужчина с уставшими глазами, — выслушал меня и сказал: «Я не могу разглашать медицинскую информацию о пациентах. Это запрещено». Но когда я описал ситуацию — коротко, скупое, не называя имён, — он помрачнел. И после долгой паузы сказал: «Девушка, которую вы описываете, действительно была моей пациенткой. И характер её травм не вызывал сомнений в том, что она стала жертвой насилия». Он не сказал, кто был заказчиком. Он не знал этого. Но он подтвердил факт изнасилования. И то, что синяки не были нарисованными. И это стало для меня последней каплей.

Теперь я знал достаточно. Мелиса — чудовище. А я — человек, которого она обманула. Человек, который должен отомстить.

Я пришёл к Селин через неделю. Сказал: «Я смою с вас этот позор. И обреку на него вашу сестру». Она заплакала и сказала, что не хотела этого, что она только предупредить, что она не желает Мелисе зла. Но я уже не слушал. Я уже всё решил.

Мы придумали план.

Три недели я манипулировал Мелисой, добиваясь близости. Три недели — каждый день, каждый час — я играл роль влюблённого мужчины. Говорил ей слова, которые она хотела слышать. Смотрел на неё взглядом, полным нежности. Шептал на ухо обещания, которые никогда не собирался выполнять. И всё это время я искал в её лице хоть какой-то признак, хоть какую-то трещину в маске. Но ничего не находил.

В этом была её гениальность. Она ни разу не прокололась. Ни разу не дала повода усомниться в своей невинности. И от этого я ненавидел её ещё сильнее. Потому что если бы она сорвалась, если бы показала своё истинное лицо — мне было бы легче. Но она продолжала быть ангелом. И это сводило меня с ума.

Наконец она согласилась. Мы приехали в квартиру её родственника в Бебеке. Я помню всё: как она нервничала, как дрожали её пальцы, когда она расстёгивала мою рубашку, как она прошептала «я люблю тебя» — и как я, глядя ей в глаза, ответил тем же, зная, что через несколько часов уничтожу её.

Та ночь... я не могу описать её словами. Это было самое прекрасное и самое ужасное, что случалось в моей жизни. Я любил её в ту ночь — по-настоящему, как прежде, отбросив всю ненависть, все планы, всю грязь. А наутро похоронил эту любовь навсегда.

Когда всё закончилось, когда она лежала, доверчиво прижавшись ко мне, я сказал:

— Мне нужно отъехать. Проблемы в клинике, отец просит помочь. Я вернусь через час.

Она поцеловала меня в щёку и улыбнулась:

— Возвращайся скорее.

Я оделся и вышел. Сел в машину и отъехал за угол. Оттуда мне было видно подъезд. Я сидел и ждал. И видел, как через двадцать минут к дому подъехали три машины Кылынчей. Как из них выскочили мужчины — дедушка, отец Мелисы, дяди, братья. Как они ворвались в подъезд с лицами, искажёнными страхом и яростью. Селин хорошо сыграла свою роль — её звонок дедушке, полный притворного ужаса, сработал безотказно.

Я выждал десять минут. А потом вышел из машины и направился к подъезду. Поднялся по лестнице. Вошёл в квартиру.

И увидел их всех.

Хакан Кылынч — прямой, как штырь, с лицом, высеченным из камня. Филиз — бледная, заплаканная, с глазами, полными вселенской скорби. Дедушка — старый падишах, который держался за сердце и тяжело дышал. Братья — Эмир, Барыш, Керем — с лицами, на которых застыл ужас. И Селин — в стороне, у окна, с заплаканными глазами и лицом невинной жертвы.

А посреди комнаты, на полу, сидела Мелиса. Босая, в том же домашнем платье, с распущенными волосами. Она не плакала. Она смотрела перед собой — в одну точку, — и в её глазах не было ничего. Пустота.

— Явуз, — сказал дедушка ледяным голосом. — Объясни, что ты здесь делаешь. В одной квартире с моей незамужней внучкой. Ночью.

И я начал свою заранее отрепетированную речь:

— Я всё объясню. Я приехал забрать свои вещи. Не знал, что в квартире кто-то будет. Но теперь, раз так вышло... я должен сказать правду.

Я посмотрел на Мелису. Она подняла на меня глаза — те самые глаза, которые когда-то смотрели с такой нежностью. И я произнёс:

— Ваша внучка... она меня преследовала. Встречала у клиники. Искала встреч. Писала письма. Я пытался быть вежливым, но она не понимала. А сегодня... она позвала меня сюда, сказала, что нужна помощь. Я приехал, а она...

Я замолчал. Мне не хватило духу закончить.

Но Селин закончила за меня:

— Я знала, — сказала она дрожащим голосом. — Я пыталась её остановить, но она меня не слушала. Она вообще никого не слушает.

Мелиса перевела взгляд с меня на сестру. И вдруг — я увидел, как что-то изменилось в её лице. Как будто последний кусочек мозаики встал на место. Она поняла. Не знаю, что именно она поняла, но в её глазах больше не было ни отчаяния, ни надежды. Только холодное, спокойное презрение.

Дедушка тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками. А потом произнёс:

— У меня больше нет внучки. Мелиса Кылынч умерла для этой семьи.

И тогда я нанёс последний удар:

— Я хочу предложить выход. Я глубоко уважаю ваш род. Чтобы смыть этот позор, я готов жениться. Но не на той, что опорочила и ваше имя, и моё. Я прошу руки вашей младшей внучки, Селин. Которая всегда была образцом скромности, чистоты и добродетели. Этот брак соединит семьи и заставит злые языки замолчать.

Повисла тишина. Дедушка поднял голову и посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Потом перевёл взгляд на Селин. Потом снова на меня.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Будь по-твоему.

И всё было кончено.

Мелиса вышла из комнаты — медленно, словно во сне. Никто не остановил её. Никто не сказал ни слова. Она просто исчезла — и вместе с ней исчезла та часть меня, которая ещё умела любить.

Теперь у нас «семья» с Селин. Если это можно так назвать.

За восемь лет многое изменилось. Я привязался к Селин — нет, я не полюбил её той любовью, которой любил Мелису. Той любовью я уже никого не мог полюбить. Но я привык. Она была удобной женой: красивой, заботливой, преданной. Она вела дом, поддерживала меня в делах, улыбалась на светских мероприятиях. Она ни разу не дала мне повода усомниться в ней.

Но я всё равно сомневался.

С годами, чем больше я наблюдал за Селин, чем ближе узнавал её, тем чаще в моей голове всплывали вопросы. Почему она никогда не рассказывала о своём «тяжёлом детстве» никому, кроме меня? Почему ни один из братьев не замечал синяков, которые, по её словам, покрывали её тело годами? Почему, когда я осторожно спрашивал Барыша — самого разумного из братьев, — о детстве сестёр, он говорил прямо противоположное: «Мелиса всегда защищала Селин. Няничла её. Отдавала ей лучшие куски со своей тарелки. Если кто-то обижал Селин в школе, Мелиса первой бежала разбираться»?

Я помнил тот взгляд, который видел у Селин ещё до всей этой истории, — взгляд, полный ненависти к старшей сестре. Взгляд, который я тогда списал на ревность. Теперь я спрашивал себя: а что, если это была не ревность? Что, если это была чистая, всепоглощающая ненависть? Такая, которая не угасает годами, а только крепнет?

Я спрашивал себя: могла ли Селин меня обмануть? И снова вспоминал доказательства. Справки из клиники — подлинные, я проверял. Синяки — настоящие. Факт изнасилования — подтверждён врачом. Но ни одно из этих доказательств не указывало на Мелису. Ни одно. Только слова Селин. Только её слезы. Только её история о сестре-чудовище. А что, если история была ложью от начала до конца? Что, если Селин сама нанесла себе эти синяки? Что, если изнасилование действительно было — но она использовала его, чтобы уничтожить сестру, обвинив её в том, чего та не совершала? Что, если я, желая покарать преступницу, стал орудием в руках настоящего преступника?

С родней Селин отношения не сложились. Братья — Эмир, Барыш, Керем — смотрели на меня с молчаливым презрением, которое с годами не смягчилось. Они никогда не говорили ничего прямо, но я чувствовал: они знают. Или догадываются. Или просто чувствуют, что в этой истории что-то нечисто. Только старый дедушка относился ко мне иначе — он единственный принял меня в семью. Единственный разговаривал со мной по-человечески. И теперь этот старик лежал в палате интенсивной терапии, и его сердце отказывало.

Настоящий ад творился в моём собственном доме. Мои родители терпеть не могли Селин. Мать смотрела на неё как на ядовитую змею. Отец избегал. А бабушка, высохшая от мудрости и возраста, в сотый раз била сухоньким кулачком по столу и кричала мне в лицо:

— Слепой ты дурак! Ты променял сокровище на дешёвую подделку! Я видела ту девочку — настоящую, — и я тебе говорю: ты совершил самую большую ошибку в своей жизни!

Я пытался объяснять. Срывал голос. Рассказывал про синяки, про справки, про изнасилование. Но бабушка только отмахивалась:

— Ты хоть раз спросил ту, другую? Хоть раз дал ей слово?

И я замолкал. Потому что ответить мне было нечего.

В тишине ночи, когда с Босфора дул холодный ветер, я лежал без сна и задавал себе вопрос, на который у меня не было ответа.

Теперь, в этом больничном коридоре, прошлое настигло нас.

Мелиса прошла мимо, даже не взглянув в нашу сторону, — и Селин окаменела. Её пальцы вцепились в мой пиджак с такой силой, что побелели костяшки. Дыхание сбилось. От неё волнами исходил страх — липкий, холодный, почти осязаемый.

Я понимал, почему она боится. Если Мелиса вернулась, если она стала кардиохирургом — а я знал, что стала, я читал о ней в медицинском журнале, — значит, прошлое может

вскрыться. Может, Селин боялась разоблачения. А может, всё рассказанное ею было правдой, и теперь она боялась мести. Я не знал. И от этого незнания мне было страшнее всего.

Я приобнял жену за талию и прижал к себе:

— Жизнь моя, не переживай. Я никому не дам тебя в обиду. Я обещаю. Давай всё-таки твоего деда прооперируем в «Аслан»? Я позвоню Юджелю.

— Нет, Явуз, не нужно. Не навлекай на себя лишние проблемы. — Её голос был тихим, но твёрдым. — А Мелиса... она явно не врач. Слишком молода, слишком выряжена. Наверняка просто ассистент. Не могла она стать кардиохирургом за восемь лет. Это невозможно.

Я слушал её и молчал. Молчал, потому что знал правду. Мелиса стала хирургом. Она оперирует сердца. И никто в «Аслане» — ни я, ни Селин, ни вся наша империя — не способен на то, что способна сделать она. Это было горькое, унижительное осознание.

Я стоял в больничном коридоре, прижимая к себе жену, и чувствовал, как внутри разрастается трещина. Рано или поздно она расколется надвое. И тогда мне придётся выбирать: продолжать верить в версию, которая спасала меня все эти годы, или посмотреть правде в глаза. Какой бы страшной эта правда ни оказалась.

Пахло больницей — хлоркой, лекарствами, страхом. И где-то в этом запахе мне почудился лёгкий шлейф её духов. Тех самых, что она носила восемь лет назад.

Я прикрыл глаза. Перед внутренним взором встала картина: Мелиса, какой я увидел её впервые, — на пешеходном переходе, испуганная, но гордая. Та, которая не села в мою машину. Та, которая заставила меня ждать. Та, которую я уничтожил.

Она вернулась не для мести. Она вернулась, чтобы спасти жизнь человеку, который когда-то вычеркнул её из семьи.

И теперь я стоял в этом коридоре и молился — впервые за многие годы, — чтобы у неё всё получилось.

Потому что если не получится, виноват буду я. Не Селин. Не дедушка. Не врачи из «Аслана».

Я.

Восемь лет назад я нажал на курок. И только теперь начал понимать, в кого целился.

Глава 5 Мелиса

Я толкнула тяжёлую дверь ординаторской и на мгновение замерла на пороге, давая глазам привыкнуть к перемене освещения. После яркого, залитого безжалостным полуденным солнцем больничного коридора, где каждый мой шаг отдавался эхом в сердцах моей замершей семьи, здесь, в кабинете, царил прохладный, успокаивающий полумрак. Шторы на окнах были задёрнуты лишь наполовину, и сквозь них пробивались широкие, золотистые лучи дневного света, в которых лениво, словно в замедленном танце, кружились мириады пылинок.

Здесь пахло медициной — той самой медициной, что стала моим спасением, моей броней, моим искуплением. Горьковатый, резкий запах антисептиков смешивался с ароматом старой, пожелтевшей бумаги из бесчисленных медицинских карт и едва уловимым металлическим привкусом — так пахнут инструменты после стерилизации, так пахнет операционная, так пахнет моя настоящая жизнь. Жизнь, которую я построила сама, своими руками, без чьей-либо помощи.

Ординаторская оказалась небольшой, даже тесноватой, но удивительно уютной для казённого учреждения — чувствовалось, что люди, работающие здесь, проводят в этих стенах больше времени, чем дома. Три стола, заваленных бумагами, распечатками анализов, кардиограммами с острыми зигзагами сердечных сокращений, стояли вдоль стен, образуя что-то вроде буквы «П». На подоконнике, щедро залитом солнечным светом, ютился старый электрический чайник, исходивший паром, а рядом с ним выстроились в неровный, сиротливый ряд три разномастные кружки: одна с отбитой ручкой, другая с выцветшим логотипом фармацевтического конгресса, третья — простая, белая, но с предательской трещиной на боку.

На стене красовался пожелтевший от времени анатомический плакат с детальным изображением человеческого сердца — все четыре камеры, коронарные артерии, клапаны, дуга аорты, — а рядом с ним висел календарь за прошлый год с фотографией Босфора на закате. Время в этой ординаторской текло по своим, особым законам, подчиняясь не движению солнца, а графику операций и обходов.

За столами сидели двое молодых мужчин — местные ординаторы. Обоим на вид не больше двадцати пяти — двадцати шести: тот самый возраст, когда ты уже достаточно опытен, чтобы тебе начинали доверять, но ещё достаточно юн, чтобы до дрожи в коленях бояться ошибки. Тот, что сидел ближе к двери, — худощавый, с острыми скулами, в очках в тонкой металлической оправе и с вечно взъерошенными тёмными волосами, — что-то сосредоточенно печатал на стареньком ноутбуке, низко склонившись над клавиатурой и смешно, по-детски морща нос. На кармашке его халата красовалась аккуратно вышитая фамилия «Сезер». Второй, чуть поплотнее, с аккуратно подстриженной тёмной бородой и усталыми, покрасневшими от недосыпа глазами, листал толстую, как Библия, историю болезни. Его звали Аслан — по крайней мере, так гласила вышивка на кармашке.

Но моё внимание сразу, безошибочно, словно стрелка компаса на север, приковал третий мужчина — тот, что сидел за центральным, самым большим столом. Ему было около пятидесяти пяти. Годы и профессия оставили на его лице неизгладимый отпечаток. Глубокие морщины избородили высокий лоб и пролегли горькими складками вокруг рта. Виски уже полностью поседели, контрастируя со всё ещё тёмными, густыми бровями, под которыми прятались глаза — тёмные, глубоко посаженные, с тем особым, цепким, ничего не упускающим взглядом, какой бывает только у хирургов старой школы. Под глазами залегли тёмные, почти фиолетовые круги — не просто от одной бессонной ночи, а от десятилетий недосыпа.

На кармашке его выцветшего, но безупречно чистого халата красовалась вышитая синими нитками фамилия: «Prof. Dr. Cemil Yılmaz». Заведующий кардиохирургическим отде-

лением. Тот самый Джемил-бей, о котором мне говорил Барыш по телефону — с уважением, смешанным с горьким отчаянием.

Он поднял на меня глаза, и я почувствовала, как его взгляд упёрся в меня — тяжёлый, оценивающий, испытующий. В его тёмных зрачках читался колоссальный опыт, смешанный с глубочайшей усталостью. Но было в этом взгляде и что-то ещё — какая-то затаённая, глубоко запрятанная печаль. Он смотрел на меня и, казалось, сканировал — мой костюм, мою осанку, моё лицо, — пытаюсь понять, кто перед ним: очередная столичная выскочка или настоящий профессионал.

— Добрый день, — произнесла я, сделав шаг вперёд. Мой голос прозвучал ровно, с той твёрдой, уверенной интонацией, которую я выработывала годами. — Меня зовут Мелиса Эроглу. Я кардиохирург из федерального центра Анкары. Это мой ассистент, Дениз Кара. Наша командировка согласована с главным врачом вашей больницы.

Дениз, стоявший за моим плечом, молча кивнул и приподнял кожаную папку с документами.

Молодые ординаторы — Сезер и Аслан — быстро переглянулись. Тот, что в очках, Сезер, кажется, хотел что-то сказать, но тут же осёкся, наткнувшись на предостерегающий взгляд старшего коллеги. Джемил-бей медленно откинулся на спинку продавленного кресла — оно жалобно скрипнуло, — сцепил пальцы в замок на животе и ещё несколько долгих, томительных мгновений молча меня разглядывал.

— Эроглу, — повторил он наконец, и его низкий, чуть хриловатый голос прозвучал как раскат далёкого грома. Он произнёс мою фамилию медленно, пробуя её на вкус. — Анкарский федеральный центр. Так это, значит, вас нам прислали? Когда мне позвонили из министерства, я ожидал увидеть кого-то... — он запнулся, подыскивая формулировку, — кого-то постарше. С благородной сединой и одышкой. Кого-то, кто выглядит как профессор. А вы... вы выглядите так, будто только вчера окончили университет. Вам ведь и тридцати ещё нет?

Я встретила его взгляд прямо, не отводя глаз. Этот тест я проходила десятки раз.

— Понимаю ваше удивление, Джемил-бей. Но уверяю вас, мой возраст — это всего лишь цифра в паспорте. У меня за плечами более ста операций на открытом сердце, включая самые сложные реконструкции аорты и операции Бенгалла де Боно. Я ученица профессора Коркмаза, если вам это имя о чём-то говорит.

При упоминании имени Коркмаза брови Джемил дрогнули и приподнялись вверх, а в его усталых глазах мелькнуло уважение, смешанное с острым профессиональным интересом.

— Коркмаз, — медленно, почти благоговейно произнёс он. — Старый пёс. Так он всё ещё практикует? Я слышал о нём — его имя гремело на всех конгрессах. Он ведь делал ту самую операцию по пересадке сердца в Анкаре, три года назад?

— Он до сих пор в строю, — я позволила себе лёгкую улыбку. — Спина прямая, взгляд ясный, руки не дрожат. И он лично передаёт вам привет. Сказал: «А, старый Джемил Йылмаз, скажи ему, что я помню его как блестящего молодого хирурга». Я была его правой рукой, его ассистентом на той самой пересадке. Девять часов в операционной, профессор Коркмаз и я, плечом к плечу.

Джемил хмыкнул — на этот раз одобрительно, почти тепло, — и я увидела, как лёд в его взгляде начал таять. Он сделал широкий, приглашающий жест рукой, указывая на свободный стул напротив. Я опустилась на жёсткое сиденье, Дениз встал чуть позади меня, а молодые ординаторы придвинулись поближе вместе со своими стульями, превратившись в слух.

Мы просидели с Джемилем за его столом больше часа. Дневной свет за окном медленно менял свой оттенок — из золотисто-полуденного он становился более мягким, медовым, предвечерним, — а мы всё говорили и говорили, погружаясь в тот знакомый, спасительный мир цифр, графиков и снимков.

Джемилль разложил передо мной на столе все материалы по пациенту. По моему деду. Я заставила себя не думать о том, кто этот пациент для меня на самом деле. Я просто смотрела на распечатки кардиограмм с их нервными зигзагами, на снимки коронарографии и включала холодный, аналитический рассудок врача.

Данные, которые я увидела, заставили меня внутренне сжаться. Аневризма восходящего отдела аорты достигала критических размеров — пять и восемь десятых сантиметра в диаметре, практически на грани разрыва. Аортальный клапан практически не функционировал: выраженная недостаточность третьей степени, на грани четвёртой. Левое предсердие было расширено до критических размеров, фракция выброса левого желудочка упала до угрожающе низких тридцати пяти процентов. И коронарография выявила ещё один неприятный сюрприз — сопутствующий стеноз коронарных артерий.

— Видите, Мелиса Ханым? — Джемилль постучал пожелтевшим от табака пальцем по снимку, и его голос звучал мрачно. — Ситуация предельно серьёзная. Я бы даже сказал — критическая. Любой другой хирург на моём месте, скорее всего, уже развёл бы руками.

Он замолчал, и это молчание затянулось, стало почти мучительным. Наконец он заговорил, и каждое слово давалось ему с видимым трудом:

— Мелиса Ханым, я должен быть с вами предельно откровенен. Понимаете... я не оперирую. Уже давно. Последние пять лет я занимаюсь исключительно административной работой. Мои руки... — он посмотрел на свои узловатые пальцы с какой-то странной смесью нежности и отвращения, — мои руки забыли, что такое скальпель. Я просто не имею морального права браться за такую сложнейшую операцию, как Бенталла с шунтированием. Это было бы не просто самонадеянно — это было бы преступно.

Он перевёл дух и продолжил, глядя куда-то в сторону:

— А мои мальчики, — он кивнул в сторону ординаторов, и те непроизвольно выпрямились, — они талантливые ребята, но... Бенталла — это не та операция, которую можно доверить ординатору. Это высший пилотаж.

Я слушала его — и внутри у меня всё переворачивалось. Пять лет без операций. Человек, созданный для того, чтобы спасать жизни, был погребён под грудой бумаг. И глядя на него сейчас — на этого уставшего, сломленного человека, — я чувствовала не презрение, а острую, пронзительную жалость.

— Я понимаю вас, Джемилль-бей, — сказала я тихо. — Даже не просто понимаю — я чувствую вашу боль как свою собственную. Вы приняли единственно верное решение. Вы поставили безопасность пациента выше своей гордости. И этим, — я посмотрела ему прямо в глаза, — вы доказали, что остаётесь настоящим врачом, несмотря ни на что.

Он поднял на меня глаза, и в них стояли слёзы — скупые, мужские, которые он изо всех сил пытался сдержать. Он ничего не сказал — просто коротко, благодарно кивнул.

— Вы действительно считаете, что справитесь? — спросил он наконец, подавшись вперёд. Его глаза впились в мои с отчаянной, почти молитвенной надеждой. — Это сложнейшая операция. Девять, а может, и все двенадцать часов непрерывной работы. Вы уверены?

— Я делала Бенталла четырнадцать раз, Джемилль-бей, — ответила я спокойно. — Двенадцать из этих пациентов сейчас живы и ведут полноценный образ жизни. У меня есть опыт. У меня есть статистика. У меня есть инструментарий из Анкары. И у меня есть ассистент, — я кивнула в сторону Дениза, — с которым мы понимаем друг друга без слов. Если ваша операционная оборудована аппаратом искусственного кровообращения последнего поколения, то я готова приступить завтра в восемь утра.

В ординаторской повисла глубокая, звенящая тишина. Джемилль несколько долгих, бесконечных секунд смотрел на меня — так пристально, словно хотел заглянуть мне прямо в душу, — затем медленно снял очки, протёр их краем халата и снова водрузил на нос.

— Хорошо, — сказал он наконец, и это простое слово прозвучало как приговор. — Я даю разрешение на операцию. Завтра в восемь утра. Операционная номер три, она у нас самая оснащённая. Мои ординаторы будут ассистировать вам вместе с вашим человеком. А я лично, с вашего позволения, буду присутствовать в операционной. Хотя бы посмотрю на операцию, которую когда-то умел делать сам. Вспомню молодость.

Я кивнула, чувствуя, как внутри разливается холодное, спокойное удовлетворение.

— Не возражаю, Джемиль-бей. Для меня будет большой честью, если такой заслуженный хирург, как вы, будет рядом. А теперь, — я решительно одёрнула пиджак, — я бы хотела немедленно осмотреть пациента лично. Своими глазами, своими руками.

Джемиль тоже поднялся — неожиданно легко для своего возраста — и проводил меня до двери. У самой двери я на мгновение обернулась. Он стоял, тяжело опершись о край своего стола, и в его старых, усталых глазах я увидела что-то новое. Что-то, чего не было ещё час назад. Что-то похожее на робкую, ещё не до конца осознанную надежду.

— Скажите, Мелиса Ханым, — произнёс он негромко, когда я уже взялась за ручку двери. — Скажите мне честно, как коллега коллеге. Почему вы вообще согласились лететь из Анкары в Стамбул ради какого-то совершенно чужого вам старика? Что вами движет на самом деле?

Я замерла на мгновение, не оборачиваясь. В коридоре, прямо за дверью, ждала моя семья. Люди, которые когда-то держали меня на руках, а потом вычеркнули из жизни. И один из этих людей сейчас лежал в палате и умирал. А здесь, в этой прокуренной ординаторской, ждали ответа люди, которые видели во мне только врача. Только кардиохирурга Мелису Эроглу, ученицу легендарного Коркмаза.

— Профессиональный долг, Джемиль-бей, — ответила я наконец, обернувшись через плечо и встречая его испытующий взгляд. Мой голос прозвучал ровно, почти сухо. — Просто профессиональный долг. Я давала клятву, и я намерена её соблюдать до конца. И больше ничего.

Я вышла в коридор и плотно закрыла за собой дверь, отделяя безопасный мир медицины от хаоса прошлого. Но краем уха, уже стоя за дверью, я услышала, как Джемиль покачал головой и сказал что-то вполголоса — кажется, «Удивительная женщина. Откуда они только берутся?» — обращаясь к своим притихшим ординаторам. А потом добавил громче, так, что я уже почти не расслышала: «Запомните этот день, мальчики. Запомните на всю жизнь. Вы только что видели настоящего хирурга».

Я не стала вслушиваться дальше. У меня впереди была бессонная ночь подготовки к операции. И ещё — короткий, но неизбежный разговор с семьёй. С теми, кто когда-то называл меня своей, а потом вычеркнул из жизни. Но это — потом. Сначала — пациент. Сначала — сердце, которое нужно починить во что бы то ни стало. Сердце человека, который когда-то разбил моё.

Я глубоко вдохнула, расправила плечи и сделала шаг навстречу тем, кто ждал меня в коридоре.

Глава 6 Мелиса

Я вышла из ординаторской и плотно прикрыла за собой дверь.

На мгновение задержала ладонь на прохладной металлической ручке. Закрывает глаза. Глубокий вдох. Выдох. Расправила плечи. Этот короткий ритуал всегда помогал мне перед входом в операционную, перед сложным разговором с родственниками пациента, перед любым испытанием, требовавшим полной собранности. Но сейчас он помогал плохо. Сердце колотилось где-то в горле, и я не могла его унять — я, кардиохирург, которая провела больше трёхсот операций на открытом сердце, не могла справиться с собственным.

Там, в кабинете, за этой дверью, всё было понятно и подчинялось законам логики. Цифры анализов. Снимки ЭХО-КГ. Протоколы операций. Сухие медицинские термины, которые не оставляли места для сомнений. Там я была Мелисой Эроглу — кардиохирургом, профессионалом, человеком, который точно знает, что делать. Но здесь, в коридоре, меня ждало испытание, к которому не готовят ни в одном медицинском университете.

Коридор встретил меня гнетущей тишиной. Здесь, в этом узком пространстве, выкрашенном бледно-зелёной больничной краской, время словно остановилось. Воздух был тяжёлым, спёртым, пропитанным запахом хлорки, лекарств и страха. Запах семьи, которая собралась здесь не от любви, а от беды.

Они все были там.

Люди, с которыми я выросла, с которыми делила кров и праздничные ужины. Люди, которые когда-то держали меня на руках и обещали, что всегда будут рядом. Люди, которые восемь лет назад, не дрогнув, не выслушав, вычеркнули меня из своей жизни, как будто я никогда не существовала. И сейчас они все смотрели на меня.

Я чувствовала их взгляды кожей. Они прожигали меня насквозь, и каждый нёс в себе что-то своё: удивление, страх, надежду, стыд, раскаяние, а где-то и застарелую, никуда не девшуюся враждебность. Я шла по коридору, и мои каблуки выбивали по линолеуму чёткий, размеренный ритм — тук-тук, тук-тук, тук-тук, — словно метроном, отсчитывающий секунды до взрыва. И я знала: взрыв будет. Вопрос лишь в том, кто нажмёт на детонатор первым.

Я не хотела показывать им свою слабость. Ни за что. Они не заслужили видеть, как у меня дрожат руки, как пересыхает в горле, как сердце колотится где-то в глотке. Восемь лет назад они меня не пощадили. Даже не выслушали. Просто вынесли вердикт — молча, единогласно, без права на апелляцию. И под этим приговором подписались все — дед, отец, мать, бабушка, тётки, дядья. Кроме братьев. Только они трое — Эмир, Барыш, Керем — не поставили свои подписи.

И теперь я вернулась. Не для того, чтобы просить прощения — мне не за что было просить прощения. Не для того, чтобы мстить — месть была слишком мелким чувством для того, кто держал в руках человеческие сердца. Я вернулась, чтобы делать свою работу. Потому что там, за дверью палаты, лежал человек, который умирал. И я была единственной, кто мог его спасти. Всё остальное — обиды, слёзы, непролитые слова, незажившие раны — не имело значения. Во всяком случае, сейчас.

Первой отмерла мама.

Я заметила это краем глаза: как она медленно, неуверенно, словно преодолевая сопротивление невидимой толщи воды, поднялась с жёсткой больничной скамьи. Её движения были скованными, какими-то механическими, словно она забыла, как двигаться, и теперь вспоминала заново. Она сделала шаг в мою сторону — всего один, маленький, робкий шаг, — и замерла. На её лице застыло выражение, от которого у любого другого человека разорвалось бы сердце.

Но я не была «любым другим человеком». Я была кардиохирургом. Чужой женщиной в белом костюме.

Я не сдвинулась с места. Не сделала ни шага навстречу. Не протянула руки. Мои каблукки словно приросли к больничному линолеуму. Я заговорила первой — и мой голос прозвучал именно так, как я планировала. Ровно. Сухо. Официально. С той убийственно вежливой интонацией, которой врачи говорят с родственниками пациентов, когда нужно сообщить информацию, не переходя на личности.

— Всем добрый день. Вы родственники Ильяса Кылынча?

Я спросила это так, словно действительно не знала их. Словно не видела этих людей никогда в жизни. Словно женщина с заплаканными глазами, замершая в двух шагах от меня, не была моей матерью. Словно мужчина с поседевшими висками, стоящий у стены, не был моим отцом. Словно трое мужчин, застывших в стороне и глядящих на меня с болью и надеждой, не были моими любимыми братьями. Я смотрела сквозь них — и это было самое трудное, что мне приходилось делать за последние годы. Труднее, чем девятичасовая операция. Труднее, чем бессонные ночи над учебниками. Труднее, чем растить сына одной.

Я не стала дожидаться ответа. Я продолжала говорить — тем же ровным, почти монотонным голосом, который так часто использовала, объясняя пациентам предстоящую операцию:

— Меня зовут Эроглу Мелиса. Я кардиохирург, направленный из Анкары для проведения операции вашему родственнику. Состояние пациента крайне тяжёлое, и промедление может стоить ему жизни. От вас мне потребуется официальное разрешение на хирургическое вмешательство. Подпишите здесь и здесь. — Я достала из папки стандартный бланк согласия на операцию. — И я очень вас прошу — не препятствовать медицинскому процессу. Любое вмешательство, любые конфликты, любые сцены могут негативно сказаться на подготовке к операции. Пациенту нужен покой. И мне он тоже нужен.

Я закончила и замолчала.

Тишина, повисшая в коридоре, была такой глубокой, что я слышала, как в висках пульсирует кровь. Я смотрела на них — на всех, — и в их глазах читала целую бурю эмоций. Шок. Неверие. Растерянность. У мамы — боль, такая острая и обнажённая, что на неё было почти физически больно смотреть. У отца — глухое, мрачное раскаяние, которое он, кажется, сам не до конца понимал. У Селин, вцепившейся в рукав Явуза, — страх. Самый настоящий, липкий, животный страх, от которого у неё побелели даже губы. Явуз смотрел на меня с непонятым выражением, и его серые глаза буравили меня насквозь, пытаюсь проникнуть под маску.

Но первой взорвалась не мама и не Селин.

Первой взорвалась бабушка.

Фатьма Кылынч — сухая, строгая, негибкая женщина, которая всегда была столпом нашей семьи, её моральным камертоном, её бескомпромиссным судьёй. Она рванулась вперёд, расталкивая стоящих рядом родственников, и её лицо — то самое лицо, которое я помнила спокойным и величественным, — было искажено гримасой ярости и боли.

— Ты... — выдохнула она, и её голос, обычно сухой и сдержанный, сорвался на крик. — Ты не притронешься к моему мужу! Ты! Позорная девка! Да как только у тебя наглости хватило приехать сюда, делать вид, что ты врач?!

Она надвигалась на меня, и каждый её шаг был полон такой неукротимой ярости, что Дениз, стоявший за моим плечом, инстинктивно сделал движение вперёд. Я едва заметным жестом остановила его.

Бабушка Фатьма остановилась в шаге от меня. Она была ниже меня ростом, но в этот момент, с горящими глазами и раздувающимися ноздрями, казалась почти величественной в своём гневе. Её палец, узловатый, скрюченный артритом, был направлен мне прямо в лицо.

— Ты думаешь, мы забыли?! Ты думаешь, восемь лет прошло, и мы забыли тот позор, которым ты покрыла нашу семью?! Мы тебя вырастили, мы тебя кормили, мы тебе дали образование, а ты опозорила нас перед всеми — перед всем городом, перед всеми родственниками!

Ты была как уличная девка — одна, в чужой квартире, с мужчиной! И теперь ты смеешь возвращаться и делать вид, что ты спасительница?!

Каждое её слово било меня наотмашь, как пощёчина. Но я молчала. Я стояла, не шелохнувшись, и позволяла ей выплеснуть весь этот гнев, весь этот яд, что копился в ней годами. Я знала: то, что она говорит сейчас — это не обо мне. Это о ней самой. О её страхе потерять мужа. О её чувстве вины, которое она сама себе никогда бы не признала.

Она замолчала, тяжело дыша. По её морщинистой щеке скатилась одинокая слеза.

И в этот момент заговорила мама.

— Мама... — её голос, тихий и дрожащий, разорвал тишину, как скальпель разрывает ткань. Она сделала шаг вперёд и встала между мной и бабушкой. — Мама, пожалуйста... Она врач. Она приехала спасти отца. Посмотрите на неё — она врач. Настоящий врач. Я не знаю, как это случилось, но...

— Молчи! — рявкнула бабушка, но мама не замолчала. Впервые за всю мою жизнь я видела, как она осмелилась перечить свекрови. Впервые за всю мою жизнь моя мать стояла между мной и опасностью — не физической, но куда более страшной.

— Я молчала восемь лет, мама, — голос мамы окреп, хотя по щекам всё ещё текли слёзы. — Я молчала, когда вы вычеркнули мою дочь из семьи. Я молчала, когда вы запретили произносить её имя. Я молчала и молилась, чтобы она была жива. И теперь она стоит перед нами — живая, сильная. И я не позволю вам снова её оттолкнуть. Не в этот раз.

Я смотрела на мать — и не узнавала её. Эта женщина, которая восемь лет назад стояла в той квартире и плакала, не сказав ни слова в мою защиту, сейчас стояла между мной и бабушкой, как щит. Что-то дрогнуло у меня внутри. Что-то, что я считала давно и навсегда затвердевшим.

— Ты... ты защищаешь её? — бабушка отступила на шаг, и ярость в её глазах сменилась растерянностью. — После всего, что она сделала?

— Я не знаю, что она сделала, — ответила мама. — Я до сих пор не знаю. Потому что восемь лет назад никто не дал ей сказать ни слова. Никто не спросил, как всё было на самом деле. Мы просто... поверили. И я хочу знать правду. Я имею право знать правду о своей дочери.

В коридоре стало тихо. Так тихо, что я слышала, как где-то на улице кричат играющие дети, как вдалеке лает собака, как в соседнем крыле больницы хлопает дверь.

И тогда заговорил отец.

Он поднял голову — впервые за всё время. Отлепился от стены, на которую опирался всё это время, и посмотрел на меня. Его глаза, всегда такие суровые, такие непроницаемые, сейчас были полны боли. И стыда. Такого глубокого, такого всепоглощающего стыда, что он, казалось, не мог выдержать моего взгляда.

— Мелиса, — произнёс он. Просто моё имя. Но в его устах оно прозвучало как исповедь.

Я ничего не ответила. Я просто смотрела на него и ждала.

— Я... — он запнулся, и его кадык дёрнулся, когда он сглотнул. — Я не знаю, имею ли я право говорить с тобой после всего, что случилось. После того, как я... после того, как мы все с тобой поступили. Но я хочу, чтобы ты знала: я сожалею. Каждый день сожалею. Я должен был выслушать тебя тогда. Я должен был защитить тебя. И я этого не сделал. Я струсил. Я испугался скандала, испугался мнения твоего деда, испугался потерять лицо. И я потерял дочь.

Он замолчал. По его щеке скатилась скупая мужская слеза, которую он тут же смахнул рукой, словно стыдясь её.

Я стояла и смотрела на него — на своего отца, который только что, спустя восемь лет, впервые попросил у меня прощения. И внутри меня происходило что-то странное. Что-то, чему я не могла подобрать названия. Это не было прощением — до прощения было ещё далеко. Это не было примирением — до примирения было ещё дальше. Это было... начало. Маленькая трещина в той бетонной стене, которую я возвела между собой и своей прошлой жизнью.

Я перевела взгляд на Селин. Она стояла, всё так же вцепившись в Явуза, и её лицо было блее больничного кафеля. Когда наши взгляды встретились, она вздрогнула — буквально вздрогнула всем телом, как от удара током. Я ничего ей не сказала. Просто посмотрела. И в этом взгляде, наверное, было всё, что я о ней думала. Потому что она отшатнулась ещё дальше, прячась за плечо мужа.

Явуз, в отличие от неё, не отшатнулся. Он продолжал смотреть на меня — прямо, не отводя глаз. Его серые глаза, которые когда-то смотрели на меня с такой нежностью, сейчас были тёмными и задумчивыми. Я видела, как он борется с собой. Как что-то внутри него пытается прорваться наружу. И наконец прорвалось.

— Мелиса — сказал он негромко, но отчётливо.

Он не стал продолжать. Селин резко дёрнула его за рукав, и он осёкся, бросив на неё быстрый, почти испуганный взгляд.

— Не надо, — прошептала Селин, и её голос был полон такого отчаяния, что даже я на мгновение почувствовала укол чего-то похожего на жалость. — Пожалуйста.

Явуз замолчал. Но его взгляд — виноватый, растерянный, полный чего-то, чему я не могла подобрать названия, — остался со мной.

Я сделала шаг назад. Окинула взглядом всю эту сцену — бабушку, всё ещё тяжело дышащую, но уже не кричащую; маму, стоящую между нами, как хрупкий мост через пропасть; отца, который смотрел в пол и не мог поднять глаз от стыда; Селин, дрожащую за спиной мужа; Явуза, который только что попытался что-то сказать и не смог; братьев, застывших в стороне с выражением облегчения и тревоги. И поняла: я прошла через это. Я выдержала.

— Я услышала всё, что вы хотели сказать, — произнесла я ровным голосом. — Теперь послушайте меня. Я — кардиохирург. Завтра утром я войду в операционную и проведу сложнейшую операцию на сердце вашего мужа, вашего отца, вашего деда. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы он выжил. Не ради вас. Не ради вашего прощения. А потому что я давала клятву. Потому что это моя работа. Потому что я не опущусь до того, чтобы отвечать предательством на предательство. А теперь — дайте мне работать.

Я развернулась и направилась в сторону палаты, где лежал дед. За спиной я слышала, как кто-то всхлипывает, как кто-то тихо переговаривается, как бабушка Фатма что-то ворчит — но уже без прежней ярости, скорее растерянно. Братья, словно молчаливые стражи, двинулись за мной.

У двери палаты я остановилась. Положила ладонь на холодную металлическую ручку. И в этот момент почувствовала, как кто-то подошёл ко мне сзади. Обернулась. Это была мама.

— Можно... можно мне пойти с тобой? — спросила она тихо, почти шёпотом. — Я не буду мешать. Просто... посижу рядом. Я обещаю.

Я посмотрела на неё — на эту женщину, которая когда-то была моим целым миром. Которая пела мне колыбельные и заплетала косички. Которая потом предала меня — но сейчас, спустя восемь лет, стояла передо мной с заплаканными глазами и просила разрешения просто побыть рядом.

Что-то дрогнуло у меня внутри. Что-то, что я считала давно и навсегда омертвевшим.

— Хорошо, — сказала я. — Только тихо. Пациенту нужен покой.

И я открыла дверь в палату. Туда, где лежал человек, который когда-то вычеркнул меня из своей жизни. Человек, чьё сердце я должна была починить завтра утром. Мой дед. Ильяс Кылынч.

Глава 7 Явуз

Я стоял и не мог пошевелиться.

Мои ноги словно приросли к больничному линолеуму, налившись свинцовой тяжестью. Язык прилип к пересохшему нёбу. Я не мог даже моргнуть — настолько всё происходящее казалось нереальным, запредельным, выходящим за рамки нормального человеческого понимания. Словно я вдруг оказался не в больничном коридоре, а в каком-то сюрреалистическом театре, где все актёры забыли свои роли, а сценарий переписывали прямо на ходу, без репетиций, без права на второй дубль.

Что это сейчас было?

Мелиса — та самая Мелиса, которую я не видел восемь лет, — прошла мимо нас, как генерал, прибывший инспектировать разбитые войска противника. В безупречном белом костюме, с прямой, словно стальной клинок, спиной, с ледяным, ничего не выражающим взглядом, который скользнул по нам и не задержался ни на секунду. Она смотрела сквозь нас. Сквозь всех. Но особенно — сквозь меня.

И это «сквозь меня» ранило больше, чем я готов был признать.

Она обратилась к нам — к своей семье — как к посторонним. «Вы родственники Ильяса Кылынча?» — спросила она голосом, лишённым каких-либо эмоций. Она назвала свою бабушку «женщина». Она сказала, что её семья «давно погибла». И всё это — с таким абсолютным, непробиваемым спокойствием, что у меня кровь застыла в жилах. Я смотрел на неё и пытался найти хоть что-то от той Мелисы, которую знал когда-то, — и не находил. Только лёд. Только сталь. Только чужая женщина в чужом костюме, говорящая чужим голосом.

А потом бабушка Фатъма взорвалась.

— Ты не притронешься к моему мужу! Позорная девка!

Я видел, как она рванулась вперёд, расталкивая родственников. Её лицо, которое я привык видеть спокойным и отстранённым, было искажено такой яростью, такой застарелой, незаживающей болью, что я невольно отшатнулся, прижимая к себе Селин.

— Ты думаешь, мы забыли?! Ты думаешь, восемь лет прошло, и мы забыли тот позор, которым ты покрыла нашу семью?!

Каждое слово бабушки было как бальзам на мою душу. Да, именно так. Именно то, что я думал всё это время. Вот она — правда. Вот она — настоящая Мелиса. Лживая, грязная, жестокая девка, которая разрушила жизнь собственной сестры, а теперь явилась сюда с видом победительницы.

Так я думал. Так я убеждал себя.

Но что-то мешало мне насладиться этим моментом. Что-то царапало изнутри, не давая покоя. И чем дольше я смотрел на Мелису — на то, как она стояла под градом обвинений, не шелохнувшись, не отведя взгляда, не проронив ни слезинки, — тем сильнее становилось это чувство. Это не было восхищением. Но это не было и ненавистью. Это было что-то третье. Что-то, чему я не мог подобрать названия.

А потом заговорила её мать — Филиз.

— Мама, пожалуйста... Она врач. Она приехала спасти отца.

Я удивлённо моргнул. Филиз всегда была тихой, незаметной женщиной, которая никогда не перечила свекрови. А теперь она стояла между бабушкой и Мелисой, как щит. И голос её, сначала дрожащий, становился всё твёрже с каждым словом.

— Я молчала восемь лет, мама. Я молчала, когда вы вычеркнули мою дочь из семьи. Я молчала, когда вы запретили произносить её имя. Я молчала и молилась, чтобы она была жива. И теперь она стоит перед нами — живая, сильная. И я не позволю вам снова её оттолкнуть. Не в этот раз.

Я почувствовал, как Селин, прижимавшаяся к моему плечу, напряглась. Я опустил взгляд и увидел на её лице выражение, которого не ожидал. Это не был страх. Это не была боль. Это было что-то другое — что-то тёмное, что мелькнуло в её глазах и исчезло так быстро, что я едва успел заметить. Ревность? Злость? Я не мог понять. Но от этого мимолётного выражения у меня по спине пробежал холодок.

А потом заговорил Хакан. Отец Мелисы. Он поднял голову — впервые за всё время, — и я увидел, как по его щеке скатилась скупая мужская слеза.

— Мелиса... Я не знаю, имею ли я право говорить с тобой после всего, что случилось. Но я хочу, чтобы ты знала: я сожалею. Каждый день сожалею. Я должен был выслушать тебя тогда. Я должен был защитить тебя. И я этого не сделал.

Он стоял, опустив плечи, и было в его позе столько стыда и раскаяния, что мне на мгновение стало не по себе. Я перевёл взгляд на Селин — она смотрела на отца с выражением, близким к ужасу. Словно его слова были для неё предательством.

А Мелиса просто слушала. Она не бросилась к родителям в объятия. Не заплакала. Не сказала «я вас прощаю». Она просто стояла и слушала, и её лицо оставалось спокойным, как поверхность замёрзшего озера. И лишь когда она заговорила, я понял: она не простила. Она — не простила. То, что она делала сейчас, было не прощением. Это было чем-то гораздо более сложным. Она давала им шанс — но на своих условиях. Она позволяла им говорить — но оставляла за собой право судить.

Я смотрел на эту сцену и чувствовал, как внутри меня что-то рушится. Моя уверенность в том, что Мелиса — чудовище. Моя вера в то, что я поступил правильно. Всё то, на чём я строил свою жизнь последние восемь лет, — всё это сейчас дрожало и трещало по швам. Потому что чудовище не стало бы так спокойно выслушивать обвинения. Чудовище не дало бы матери возможность заступиться. Чудовище не позволило бы отцу попросить прощения.

Или позволило бы? Я уже не знал. Я запутался. Все мои представления о том, что правильно, а что нет, перемешались в голове, как карты в колоде.

А потом я увидел братьев.

Эмир, Барыш, Керем. Они двинулись вслед за Мелисой, когда она направилась в палату. Прошли мимо Селин, даже не взглянув на неё. Все трое. Ни один не остановился. Ни один не сказал ни слова. Они просто развернулись и ушли за старшей сестрой, как молчаливая гвардия, как личный эскорт, как люди, которые давно сделали свой выбор.

Я почувствовал, как Селин вздрогнула. Опустил взгляд. В её глазах стояли слёзы — и на этот раз это были настоящие слёзы. Не те, что она проливала передо мной восемь лет назад, рассказывая о жестокости Мелисы, — те слёзы всегда казались мне какими-то... отретпетированными, что ли. Нет, эти были другими. Искренними. Солёными. Слезами женщины, которую только что предали самые близкие люди.

— Почему? — прошептала она, и её голос был таким тихим, что я едва расслышал. — Почему они всегда выбирают её? Почему не меня?

Я прижал её к себе крепче, пытаясь защитить от всего мира. Но внутри меня уже зрел вопрос — тот самый, который я боялся задать себе все эти годы. Почему братья действительно всегда выбирали Мелису? Почему они помогли ей бежать тогда, восемь лет назад? Почему они поддерживали с ней связь все эти годы, пока мы с Селин жили в Стамбуле и делали вид, что всё в порядке? Что они знали такого, чего не знал я?

Телефонный звонок разорвал тишину, как скальпель разрезает ткань. Я вздрогнул и машинально полез в карман. На экране высветилось: «Отец».

— Да? — ответил я, и мой собственный голос показался мне чужим.

— Сынок, это я. — Голос отца звучал бодро, даже энергично, что контрастировало с атмосферой больничного коридора. — Мы с матерью подъезжаем к больнице, будем через десять минут. Ты там как, держисься?

— Держись, отец.

— Слушай, я чего звоню. Селин не передумала насчёт кардиохирурга? Я тут созвонился с профессором Оздемиром из университетской клиники — ты его помнишь, он когда-то у меня ассистировал. Он сказал, что может приехать и прооперировать, несмотря на все эти дурацкие предрассудки про родственников. Я ему доверяю, он прекрасный хирург.

Я молчал. Что я мог ему ответить? Что хирург из Анкары уже здесь? Что этот хирург — Мелиса, та самая девушка, которую я когда-то любил, а потом уничтожил?

— Явуз? Ты меня слышишь?

— Слышу, отец. Но в этом нет необходимости. Тут уже приехал хирург. Из Анкары. Операцию назначили на завтрашнее утро.

— Из Анкары? Уже приехал? Хорошо. И как его зовут? Я, возможно, знаю этого человека — в мире кардиохирургии все друг друга знают.

Я закрыл глаза. Сделал глубокий вдох.

— Эроглу Мелиса.

На том конце провода повисла пауза. Короткая, но очень выразительная. Я услышал, как отец переспросил у матери — кажется, он прикрыл трубку рукой, но я всё равно разобрал отдельные слова: «Эроглу... Мелиса... Да, та самая... Ученица Коркмаза...»

А потом он заговорил снова, и его голос звучал совсем иначе. В нём не было тревоги или сомнения. В нём было что-то другое — что-то похожее на уважение, даже на восхищение.

— Эроглу Мелиса? Мелиса Эроглу из федерального центра Анкары? Сынок, да это же одно из самых громких имён в турецкой кардиохирургии! Я слышал о ней, конечно слышал. Она ученица Коркмаза — самого Коркмаза! Это дорогого стоит, поверь мне. Она ассистировала на той самой трансплантации три года назад — весь медицинский мир гудел, статьи в международных журналах, интервью по телевидению. Говорят, у неё руки золотые и интуиция потрясающая. Нам невероятно повезло, что она согласилась приехать.

Я слушал отца — и внутри меня всё сжималось в тугую, болезненный комок. Отец восхищался ею. Мой отец — человек, которого я уважал больше всех на свете, лучший кардиохирург своего поколения, — восхищался женщиной, которую я предал и уничтожил. И в его голосе звучала такая искренняя, такая неподдельная радость, что я не мог выдать из себя ни слова.

— Явуз? — голос отца стал встревоженным. — Что с тобой? Ты какой-то странный. Ты её знаешь? Вы встречались раньше?

Вот он, момент истины. Я мог рассказать ему всё. Прямо сейчас. Мог сказать: «Отец, эта женщина — та самая Мелиса, которую я опозорил восемь лет назад. Та самая, которую я обвинил в том, что она меня преследовала. Та самая, на чьей сестре я женился, чтобы "смыть позор"». Я мог произнести эти слова — и тогда моему отцу пришлось бы посмотреть на меня другими глазами. Глазами человека, который узнал, что его сын — не благородный спаситель, а трус и подлец.

Но я не смог.

— Нет, отец, — сказал я, и мой голос прозвучал глухо. — Никогда не встречались. Просто... устал. Тяжёлый день.

— Понимаю, сынок. Держись. Мы скоро будем.

Я сбросил звонок и сунул телефон обратно в карман. Руки дрожали. Я чувствовал, как пот стекает по спине, хотя в коридоре было прохладно. И в этот момент я понял: я только что солгал отцу. Не в первый раз в жизни — но впервые эта ложь обожгла меня так сильно.

Я обернулся к Селин. Она стояла, опустив голову, и плечи её дрожали. Я взял её за руку — холодную, безвольную — и попытался поймать её взгляд.

— Селин, — сказал я тихо. — Твой отец... то, что он сказал Мелисе... как ты к этому относишься?

Она подняла на меня глаза. И в них было что-то такое, от чего у меня перехватило дыхание. Это не была печаль. Это не была обида. Это был гнев. Чистый, незамутнённый, сжатый до размеров игольного ушка гнев.

— Он предал меня, — прошептала она. — Как и все остальные. Как братья. Как мать. Они все всегда любили её больше. Всегда.

— Селин...

— Ты видел, как они на неё смотрели? — её голос становился громче, в нём закипали истерические нотки. — Как на святую! Как на спасительницу! А она... она ведь даже не взглянула на меня! Она отрёклась от нас, от всей семьи, а они всё равно за ней пошли! Почему, Явуз? Почему?

Я молчал. Я не знал ответа. Вернее — знал, но боялся его произнести. Потому что ответ этот мне не нравился. Он не укладывался в ту картину мира, которую я строил восемь лет. В той картине Селин была невинной жертвой, а Мелиса — чудовищем. Но то, что я видел сегодня, не вписывалось в эту картину. Совсем.

— Знаешь, что сказал мой отец? — спросил я, глядя куда-то в стену. — Он сказал, что Мелиса Эроглу — одно из самых громких имён в турецкой кардиохирургии. Что у неё золотые руки. Что она ученица самого Коркмаза.

Селин замерла. Её лицо, только что искажённое гневом, вдруг стало белым как мел.

— Что? — выдохнула она. — Этого не может быть. Она... она не могла стать хирургом. Это невозможно. Для этого нужны десятилетия. Нужны связи. Нужны деньги. У неё ничего этого не было!

— У неё ничего не было, — повторил я задумчиво. — Кроме таланта. Кроме воли. Кроме желания доказать всем, чего она стоит.

Селин отдернула руку, которую я всё ещё держал.

— Ты... ты восхищаешься ею? — в её голосе зазвенел металл. — После всего, что она сделала? После того, как она меня избивала? После того, как она заплатила тем людям? Ты забыл, Явуз? Ты забыл, что я тебе рассказывала?

— Я ничего не забыл, — ответил я. Но мой голос прозвучал неуверенно, и Селин это заметила.

— Ты сомневаешься во мне, — прошептала она. — Я вижу. Ты сомневаешься.

Я не ответил. Я просто стоял и смотрел на неё — на женщину, с которой прожил восемь лет, которую клялся защищать, ради которой разрушил жизнь другой женщины. И впервые за эти восемь лет я не знал, верю ли я ей.

Селин выдержала мой взгляд несколько секунд. Потом резко развернулась и пошла по коридору прочь — быстрым, нервным шагом, почти бегом. Я не бросился за ней. Я остался стоять на месте, глядя ей вслед.

И впервые за восемь лет я почувствовал что-то похожее на облегчение от того, что она ушла.

В коридоре постепенно становилось тише. Бабушка Фатма, выплеснув свой гнев, сидела на скамье и тяжело дышала, прижимая руку к груди. Хакан стоял у стены и смотрел в одну точку — туда, где только что была его старшая дочь.

А я стоял и думал.

Думал о том, что мой отец — человек, которого я уважал больше всех, — восхищается Мелисой. Думал о том, что братья Мелисы — все трое — прошли мимо Селин, не взглянув на неё. Думал о том, что Хакан и Филиз — люди, которые восемь лет назад вычеркнули дочь из семьи, — сегодня просили у неё прощения.

И все эти факты не укладывались в историю, которую рассказала мне Селин. В историю о том, что Мелиса была чудовищем. В историю о том, что Селин была невинной жертвой.

Слишком многое не сходилось. Слишком много людей вело себя не так, как должны были бы, если бы Селин говорила правду.

Я прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Воздух в коридоре был спёртым, тяжёлым, пропитанным запахом лекарств и человеческого пота. Но где-то в этом воздухе мне снова почудился лёгкий шлейф её духов. Тех самых, что она носила восемь лет назад. Или мне просто показалось. Или это память играла со мной злую шутку.

Я не знал.

Но одно я знал точно: я больше не мог продолжать верить Селин, не задавая вопросов. Восемь лет я жил с закрытыми глазами. Восемь лет я убеждал себя, что поступил правильно. Восемь лет я прятался от правды за спиной своей жены.

Хватит.

Пора было открыть глаза. Пора было задать вопросы. Пора было узнать правду — какой бы страшной она ни оказалась.

Я поднял голову и посмотрел на закрытую дверь палаты, за которой сейчас находилась Мелиса. Где-то там, за этой дверью, женщина, которую я когда-то любил, а потом уничтожил, осматривала старика, которого я не смог защитить. Завтра она возьмёт в руки скальпель и будет резать его сердце. А я буду стоять в этом коридоре и ждать — молиться, надеяться, бояться.

И ещё — думать. Думать о том, как я мог так слепо, так безоговорочно, так по-дурацки поверить словам одной женщины и не дать ни единого шанса другой.

— Явуз-бей?

Я обернулся. Передо мной стоял Дениз Кара — ассистент Мелисы. Молодой парень в очках, с вечно взъерошенными волосами и внимательным, цепким взглядом. Он смотрел на меня с каким-то странным выражением — не враждебным, но и не дружелюбным. Скорее — оценивающим.

— Мелиса Ханым просила передать, — сказал он ровным, официальным тоном, — что операция начнётся завтра в восемь утра. Все вопросы по состоянию пациента вы можете задать ей лично после завершения операции. А пока — пожалуйста, не беспокойте её. Ей нужно готовиться.

Я кивнул. Дениз развернулся и пошёл обратно к ординаторской. Я смотрел ему вслед и думал: этот парень знает её. Работает с ней. Видит её каждый день. Интересно, что бы он сказал, если бы я спросил его, какая она на самом деле? Интересно, что бы он ответил, если бы я рассказал ему ту историю, которую мне поведала Селин?

Я не стал его догонять. Не сейчас. Но я дал себе слово: прежде чем эта история закончится, я узнаю правду. Чего бы мне это ни стоило.

Я снова посмотрел на дверь палаты. За ней была тишина. Мелиса была там — с дедом, с матерью. Она была там, а я был здесь — по эту сторону, вместе с остальными. И впервые за восемь лет я почувствовал, что эта граница — между мной и ею, между нами и ими, — была не просто дверью. Это была пропасть. Пропасть, которую я вырыл собственными руками.

И я понятия не имел, как её преодолеть.

Глава 8 Мелиса

Я толкнула дверь палаты и вошла внутрь, и в тот же миг меня окутала та особая, ни с чем не сравнимая атмосфера, которая бывает только в палатах тяжёлых, критических пациентов. Здесь пахло тишиной — той самой густой, ватной тишиной, которую нарушали лишь размеренные, ритмичные сигналы кардиомонитора да слабое, едва слышное шипение кислородного аппарата. Воздух был плотным, спёртым, пропитанным запахом лекарств, антисептиков и ещё чем-то неуловимым — тем запахом, который всегда сопутствует тяжёлой болезни. Запахом беспомощности. Запахом ожидания. Запахом того, что жизнь висит на волоске, и этот волосок может оборваться в любую секунду.

Палата была одноместной — небольшая привилегия для пациента из уважаемой, состоятельной семьи, за которую наверняка доплачивали сверх стандартной страховки. Узкая функциональная койка, застеленная белоснежным, туго накрахмаленным бельём. Тумбочка с графином воды и одиноким стаканом, на который падал луч предвечернего солнца, пробивавшийся сквозь неплотно задёрнутые шторы. На стене висела дешёвая репродукция — морской пейзаж, Босфор на закате, с его узнаваемыми силуэтами мечетей и мостов, — и я на мгновение задержала на ней взгляд. Тот самый Босфор, на берегах которого я выросла, которым любовалась из окна дедушкиного кабинета, сидя у него на коленях и слушая истории о его молодости. Тот самый Босфор, который я покинула восемь лет назад, сбегая из города, который когда-то был моим домом, а стал моей тюрьмой.

Я оторвала взгляд от картины и перевела его на койку.

Там лежал мой дед. Ильяс Кылынч. Человек, который когда-то был для меня целым миром — огромным, несокрушимым, авторитетным, как горный хребет, на который можно опереться и не бояться упасть. Человек, который учил меня ездить на велосипеде, держа за седло и бегая рядом, пока я, семилетняя, визжала от восторга и страха. Человек, который читал мне на ночь не детские сказки, а старинные притчи о чести, достоинстве и долге перед семьёй — и я, затаив дыхание, слушала его низкий, рокочущий голос, засыпая под эти истории о древних воинах и мудрых султанах. Человек, который на каждый мой день рождения дарил мне не кукол, а книги — дорогие, в кожаных переплётках, с золотым тиснением на корешках, — и говорил: «Учись, внучка, знания — единственное, что у тебя никто не отнимет». Человек, который восемь лет назад, не раздумывая ни секунды, не выслушав, не спросив, даже не взглянув на меня по-настоящему, вычеркнул меня из своей жизни. Который сказал — а я слышала это своими ушами, стоя в дверях и не веря в реальность происходящего: «У меня больше нет старшей внучки».

И теперь этот человек лежал передо мной на больничной койке, и от того величественного, грозного патриарха, которого я помнила с детства, не осталось почти ничего. Совсем ничего. Только бледная, иссохшая оболочка, опутанная проводами и трубками, словно марионетка, которую дергают за ниточки невидимые кукловоды.

Я смотрела на него, и на какую-то долю секунды — на одну крошечную, предательскую долю секунды, которую невозможно измерить никакими приборами, — моё сердце сжалось. Сжалось так сильно, так болезненно, что мне пришлось на мгновение зажмуриться и мысленно приказать себе: «Не смей. Не сейчас. Ты здесь не внучка. Ты здесь врач. Только врач». И этот внутренний приказ, отданный холодным, профессиональным тоном — тем самым тоном, которым я разговаривала с интернами в операционной, — подействовал. Я почувствовала, как знакомая ледяная броня возвращается на место, обволакивая сердце непроницаемым коконом. Эмоции — в сторону. Чувства — под замок. Передо мной не дед. Передо мной пациент. Тяжёлый, критический пациент с аневризмой восходящего отдела аорты, недостаточностью аортального клапана и сопутствующим стенозом коронарных артерий. И этот пациент умрёт

в течение нескольких дней, если я не проведу операцию. Вот что имеет значение. Только это. И больше ничего.

Я открыла глаза и подошла ближе к койке. Мои шаги были бесшумными — я давно научилась ходить по больничным палатам так, чтобы не тревожить пациентов. Дед лежал с закрытыми глазами, и его лицо — то самое лицо, которое я помнила суровым, властным, с пронзительным взглядом, — было бледным, почти серым, с заострившимися чертами и глубокими, синюшными тенями под глазами. Кожа, некогда смуглая и упругая, теперь обвисла на скулах, как старая, изношенная ткань. Губы — тонкие, сухие, потрескавшиеся — были плотно сжаты, словно даже во сне он продолжал бороться с какой-то внутренней болью. Его руки, которые когда-то держали меня, пятилетнюю, на коленях и рассказывали о великих битвах и благородных предках, теперь безвольно лежали поверх одеяла, и игла капельницы впивалась в одну из вздутых, синеватых вен. Провода кардиомонитора тянулись от электродов на его груди к аппарату, который мерно попискивал, выводя на экран ритм его сердца — слабый, неровный, сбивчивый ритм, который в любой момент мог остановиться навсегда.

Он выглядел плохо. Очень плохо. Но я понимала прекрасно — в его состоянии, с его диагнозом, с этими критическими показателями, — это было ожидаемо. Даже закономерно. Аневризма восходящего отдела аорты диаметром пять и восемь десятых сантиметра, выраженная аортальная недостаточность третьей-четвёртой степени, фракция выброса левого желудочка, упавшая до тридцати пяти процентов... С таким букетом патологий любой пациент выглядел бы так же. Или ещё хуже. Если бы не своевременная госпитализация, если бы не поддерживающая терапия, которую ему здесь проводили, он, возможно, уже не лежал бы на этой койке. Он лежал бы в морге.

Я отогнала эту мысль и сосредоточилась на работе. Я была здесь для того, чтобы не допустить этого исхода. Я была здесь, чтобы бороться. Чтобы сделать свою работу так, как меня учили. Так, как я умела. Так, как требовала моя клятва.

Я шагнула к мониторам и начала методично, скрупулёзно осматривать все показатели, записывая их в свой блокнот. Артериальное давление — сто на шестьдесят, низковато, но для его состояния приемлемо. Частота сердечных сокращений — девяносто два удара в минуту, тахикардия, сердце пытается компенсировать падающую фракцию выброса, работает на износ, как загнанный двигатель. Сатурация кислорода — девяносто четыре процента, на нижней границе нормы, но ещё держится. Кардиомонитор выводил на экран характерную кривую — синусовый ритм с редкими экстрасистолами, признаками перегрузки левого желудочка, — и я внимательно изучала её, отмечая про себя все нюансы, все отклонения, все тревожные звоночки. Рядом с монитором на тумбочке лежала история болезни — толстая, пухлая папка, в которую были подшиты все анализы, все заключения, все снимки. Я пролистала её, освежая в памяти данные ЭХО-КГ, коронарографии, биохимические показатели крови. Всё сходилось. Картина была ясна и однозначна: операция Бенталла де Боно с протезированием восходящего отдела аорты и аортального клапана единым клапаносодержащим кондуитом, плюс аортокоронарное шунтирование. Сложнейшая, многочасовая операция, требующая ювелирной точности и абсолютной концентрации.

Я достала из папки чистый бланк и начала выписывать назначения — препараты для предоперационной подготовки, последние анализы, которые нужно взять сегодня вечером, инструкции для дежурного врача на ночь. Моя ручка летала по бумаге, выводя чёткие, разборчивые строки — я всегда писала разборчиво, потому что знала: в медицине неразборчивый почерк может стоить жизни. Антикоагулянты — отменить за двенадцать часов до операции. Антибиотики широкого спектра — начать профилактику за час до вскрытия. Кардиомониторинг — непрерывный, с записью всех событий. При малейших признаках нестабильности — немедленно вызывать меня или Джемиля. Я работала быстро, сосредоточенно, не позволяя

себе отвлекаться, и в этом ритме — привычном, знакомом, спасительном ритме врача, выполняющего свою работу, — я находила успокоение.

Я почти закончила. Оставалось дописать последнюю строку, поставить подпись и выйти из палаты, чтобы вернуться к братьям, которые ждали меня за дверью. А потом — готовиться к завтрашней операции. Проверить оборудование. Проговорить с Денизом план. Предусмотреть возможные осложнения. Бессонная ночь, полная работы, — то, что мне было нужно, чтобы не думать. Чтобы не чувствовать. Чтобы оставаться врачом, а не внучкой.

Я вывела последнюю букву, поставила точку и уже собралась развернуться и направиться к выходу, когда услышала это.

Слабое, едва различимое, почти невесомое движение на грани восприятия. Шелест простины. Тихий, надтреснутый звук — даже не слово, скорее выдох, попытка вытолкнуть воздух из лёгких и придать ему форму. Я замерла, не донеся ручку до кармана, и медленно повернула голову.

Дед открыл глаза.

Это произошло медленно — так медленно, словно каждое движение век требовало от него невероятных, титанических усилий, словно он поднимал не тонкие складки кожи, а многотонные каменные плиты. Его взгляд — затуманенный, расфокусированный, блуждающий по потолку, — постепенно сфокусировался на мне. И в тот момент, когда его глаза встретились с моими, в них произошла перемена. Не мгновенная — постепенная, но оттого не менее поразительная. Сначала в них было узнавание. Потом — шок. Глубокий, всепоглощающий шок, от которого его зрачки расширились, а рот слегка приоткрылся, обнажая пересохшие дёсны. А потом — я отчётливо, ясно, безошибочно увидела это — в его глазах вспыхнула ярость. Та самая ярость, которую я помнила с детства, — ярость патриарха, столкнувшегося с неповиновением. Ярость человека, который привык, что его слово — закон, и который не терпел возражений. Ярость, смешанная с бессилием — потому что сейчас, лёжа на больничной койке, опутанный проводами и трубками, он был не в силах даже поднять руку, чтобы указать мне на дверь.

— М-м-м... Ме... Лиса? — прошептал он, и это был не просто шёпот. Это был хрип, вырванный из самой глубины его измученной, большой груди, звук, который стоил ему невероятных усилий. Каждый слог давался ему с боем, с болью, с той мучительной одышкой, которая бывает у людей с критической сердечной недостаточностью. Он произнёс моё имя — моё настоящее имя, то, под которым он знал меня двадцать лет, — и в этом имени было всё. И узнавание. И обвинение. И ненависть. И, возможно, что-то ещё — что-то, что я не могла или не хотела распознать.

На одно короткое, ослепительное мгновение я почувствовала, как что-то внутри меня дрогнуло. Где-то там, глубоко под ледяной бронёй, под слоями профессиональной отстранённости, под годами выстроенной защиты, что-то шевельнулось. Что-то тёплое, живое, уязвимое. Маленькая девочка, которая всё ещё жила где-то внутри меня, которая всё ещё помнила, как дедушка сажал её на колени и читал ей притчи, которая всё ещё любила его — несмотря ни на что, несмотря на предательство, несмотря на боль.

Я подавила это чувство мгновенно, безжалостно, как подавляют опасную аритмию рядом дефибриллятора. Нет. Не сейчас. Не здесь. Не с ним.

Я заговорила, и мой голос прозвучал именно так, как должен звучать голос врача, обращающегося к пациенту. Ровно. Спокойно. С лёгкой, почти неуловимой ноткой ободрения, но без тени эмоциональной вовлечённости. Так я говорила с сотнями пациентов до него — и так же буду говорить с сотнями после.

— Ильяс-бей. — Я намеренно использовала официальное обращение «бей», подчёркивая дистанцию между нами. — Вам нельзя говорить. В вашем состоянии любое напряжение — в том числе речевое — может спровоцировать ухудшение. Пожалуйста, поберегите силы. Меня

зовут Мелиса Эроглу. — Я сделала крошечную паузу перед фамилией, давая ему возможность услышать её, осознать, запомнить. Не Кылынч. Не его внучка. Эроглу. Чужая. — Я кардиохирург из федерального центра Анкары. Меня направили сюда для проведения вашей операции. Завтра с утра мы проведём вам хирургическое вмешательство. Операция будет сложной, но у меня есть опыт, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы она прошла успешно.

Я замолчала на секунду, глядя ему прямо в глаза — в эти старые, усталые, воспалённые глаза, в которых всё ещё тлела искра той самой ярости. А потом добавила — тише, мягче, но всё с той же непреклонной, стальной твёрдостью:

— Сегодня вам нужно отдыхать. Беречь силы. Ни о чём не тревожиться и ни о чём не думать. А завтра мы вместе будем бороться за вашу жизнь. И я очень надеюсь, Ильяс-бей, что вы мне в этом поможете. Потому что без вашей воли к жизни, без вашего желания жить — дальше, несмотря ни на что, — даже самая блестящая операция может оказаться бессильной.

Сказав это, я не стала дожидаться ответа. Не стала смотреть, как он переваривает мои слова — мои спокойные, холодные, профессиональные слова, за которыми не было ни внучкиной любви, ни внучкиной обиды. Я просто развернулась — чётко, по-военному, — и направилась к двери, оставляя за спиной всё: старого, больного человека на койке, монитор, плачущий в такт его слабому сердцу, картину с Босфором на стене, прошлое, которое в этой палате вдруг стало невыносимо осязаемым.

Каждый шаг к двери давался мне с трудом — не потому, что я была уставшей, а потому что невидимые нити тянулись от меня к этой койке, к этому человеку, и каждый шаг рвал их одну за другой. Но я шла. Я не обернулась. Ни разу.

Я толкнула дверь и вышла в коридор. И в тот же миг, как только дверь за моей спиной закрылась, отрезая меня от палаты и её обитателя, я увидела их. Моих братьев. Они стояли у входа — все трое, плечом к плечу, — словно почётный караул, ожидающий выхода командующего. Эмир — высокий, широкоплечий, с вечно хмурым, словно высеченным из гранита лицом, на котором сейчас читалась тревога. Барыш — чуть позади, его умные, цепкие глаза сканировали моё лицо, пытаясь прочитать на нём то, что я чувствую. Керем — мой младший, мой любимый, прислонившийся к стене и нервно постукивающий пальцами по бедру, совсем как в детстве. Рядом с ними, чуть поодаль, стоял Дениз — молчаливый, невозмутимый, с папкой документов в руках.

Они ждали меня. Моя семья. Моя настоящая, единственная, нерушимая семья. Те, кто не предал, не отвернулся, не осудил. Те, кто восемь лет назад, рискуя всем, посадили меня на автобус до Анкары. Те, кто звонил каждую неделю, лишь бы услышать мой голос. Те, кто присылал деньги на еду и подбадривал, когда я была на грани отчаяния. Те, кто ни разу, ни на секунду не усомнился в моей невинности.

Я сделала шаг вперёд — и попала в их объятия.

Это произошло само собой, без слов, без команды, словно мы репетировали это движение годами. Эмир обхватил меня своими огромными, сильными руками, прижимая к своей груди так крепко, что у меня перехватило дыхание. От него пахло дорогим парфюмом и чем-то ещё — тем самым, родным, что я помнила с детства, — запахом дома, запахом безопасности, запахом безусловной любви. Барыш обнял меня со спины, положив подбородок мне на макушку, и я почувствовала, как его руки смыкаются вокруг нас троих, создавая непроницаемый кокон. А Керем, мой младший, мой мальчик, нырнул под руку Эмира и прижался ко мне сбоку, уткнувшись лицом в моё плечо, совсем как в детстве, когда ему было пять и он боялся грозы.

— Ты справилась, сестрёнка, — прошептал Эмир мне в самое ухо, и его голос, обычно сухой и сдержанный, сейчас дрожал от с трудом сдерживаемых эмоций. — Мы гордимся тобой. Так гордимся, что ты даже не представляешь. Ты вошла туда — к человеку, который тебя предал, — и держалась как королева. Как настоящая королева.

— Ты невероятная, — добавил Барыш, и я почувствовала, как его пальцы легонько сжимают мои плечи. — Мы всегда знали, что ты сильная. Но то, что мы увидели сегодня... Ты превзошла все наши ожидания. Ты стала такой, какой мы всегда мечтали тебя видеть.

— Не отпускай меня, — прошептал Керем, и его голос, в отличие от старших братьев, звучал по-детски, незащитно, ломко. — Никогда больше не отпускай. Мы так скучали. Так долго скучали. Восемь лет — это слишком много. Я не хочу тебя терять снова.

Я стояла в центре этого кокона из рук, плеч, дыхания, объятий, и чувствовала, как защитная броня, которую я так старательно выстраивала все эти годы, начинает давать трещины. Не рухнет — нет. Этого я не могла себе позволить. Но даёт трещины — крошечные, почти незаметные, но достаточные для того, чтобы сквозь них пробилось что-то тёплое. Что-то живое. Что-то, что я почти забыла за эти восемь лет одиночества.

— Я тоже скучала, — прошептала я, и мой голос, к моему собственному удивлению, дрогнул. — Вы даже не представляете, как я скучала. Каждый день. Каждую ночь. Каждую минуту.

Мы стояли так — вчетвером, одной неразрывной стеной, — посреди больничного коридора, и мимо нас проходили медсёстры, санитары, пациенты, но мы никого не замечали. В этот момент существовали только мы. Только наша семья. Только эта тихая, нерушимая, непоколебимая связь, которую не смогли разорвать ни время, ни расстояние, ни предательство.

Я закрыла глаза и позволила себе несколько секунд слабости. Всего несколько секунд. А потом глубоко вдохнула, открыла глаза и мягко, но решительно высвободилась из объятий.

— Ладно, мальчики, — сказала я, и мой голос снова обрёл ту самую деловую, слегка ироничную интонацию, которую они помнили с моего детства. — Хватит меня душить. У меня завтра операция, и мне нужно, чтобы мои рёбра были целы. А то как я буду держать скальпель, если вы меня раздавите?

Эмир хмыкнул. Барыш усмехнулся и поправил очки. Керем шмыгнул носом и смущённо потёр глаза.

— Узнаю нашу Мелису, — сказал Эмир, и в его голосе послышалась та самая теплая, чуть насмешливая интонация, с которой он обращался ко мне в детстве. — Всегда умела разрядить обстановку.

Я улыбнулась — впервые за этот бесконечно длинный день — и направилась в сторону ординаторской. Мне нужно было проверить оборудование, переговорить с анестезиологом на завтра, пройтись по всем деталям с Денизом. Впереди была долгая, бессонная ночь подготовки. Но сейчас, чувствуя за спиной молчаливое присутствие братьев, я знала: я справлюсь. Я всё смогу. Потому что я больше не одна. Потому что моя семья — вот она. И ради них, ради их веры в меня, я готова была пройти через что угодно. Даже через операцию на сердце человека, который когда-то разбил моё.

Глава 9 Явуз

Я вышел на улицу через боковую дверь больницы, потому что мне необходим был воздух. Не просто необходим — жизненно необходим, как кислородная маска пациенту, чьи лёгкие медленно тонут в собственной жидкости, отказываясь принимать хоть глоток жизни. Ещё немного — ещё одна минута в этом душном, пропитанном едким запахом лекарств и липким, концентрированным страхом коридоре, среди этих людей, в гнетущей, давящей тишине, которая нарушалась лишь сдавленными всхлипами да прерывистым, горячечным шёпотом, — и я бы просто взорвался. Взорвался бы изнутри, рассыпавшись на тысячу осколков, которые уже невозможно было бы собрать. Или сошёл с ума — тихо, незаметно для окружающих, но бесповоротно. Или, что ещё страшнее, наговорил бы такого, о чём потом жалел бы до конца своих дней — долгих, пустых, наполненных лишь горечью непоправимой ошибки.

Тяжёлая металлическая дверь с мягким, пружинящим, почти деликатным звуком закрылась за моей спиной, отрезая меня от больничного шума, от этого искусственного, стерильного мира боли и отчаяния, и я наконец-то смог вдохнуть полной грудью. Так, как не дышал, казалось, целую вечность. Воздух был тёплым, чуть влажным, густым от близости моря — с лёгким, едва уловимым привкусом соли и йода. Стамбул, мой родной, великий, сумасшедший, бесконечно любимый и такой же бесконечно уставший Стамбул дышал где-то рядом, за больничными корпусами, за забитой машинами стоянкой, за высокими, устремлёнными в небо кипарисами, что росли вдоль больничной ограды, словно молчаливые стражи. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в удивительные, пронзительные, почти нереальные оттенки — от нежно-розового, похожего на румянец смущённой девушки, до густо-оранжевого, переходящего в тёмно-пурпурный, почти траурный у самого горизонта. Где-то вдалеке, над невидимым отсюда, но всегда угадываемым сердцем Босфором, кричали чайки. Их резкие, гортанные, полные какой-то древней тоски крики доносились сюда, приглушённые расстоянием, но всё равно до боли узнаваемые. Этот звук — звук моего детства, звук моего города, звук, который обычно успокаивал меня, убаюкивал, обещал, что всё будет хорошо. Но не сегодня. Сегодня ничто — ни этот воздух, ни это небо, ни эти крики — не могло меня успокоить. Во мне что-то сломалось, и привычные лекарства больше не действовали.

Я отошёл от двери на несколько шагов и остановился у больничной стены, прислонившись спиной к прохладному, шершавому бетону, который, казалось, был единственной надёжной опорой в этом мире. Достал из кармана пачку сигарет — привычным, машинальным жестом, который не менялся уже много лет, жестом, в котором было больше от ритуала, чем от реальной потребности, — и закурил. Первая затяжка обожгла горло, и я закашлялся — глухо, надсадно, потому что курил редко, только в минуты крайнего, запредельного стресса, когда реальность становилась невыносимой. Сейчас была именно такая минута. Я сделал вторую затяжку, глубже, длиннее, чувствуя, как горький никотин растекается по венам, принося ложное, обманчивое, трусливое чувство успокоения.

Мне нужно было одиночество. Хотя бы несколько минут. Хотя бы несколько жалких, ничтожных, украденных у судьбы минут, чтобы побыть наедине с самим собой и попытаться разобраться в том хаосе, что творился у меня внутри. А творилось там нечто совершенно необразимое, тёмное, пугающее — такое, с чем я никогда раньше не сталкивался и к чему был абсолютно, катастрофически не готов.

Во мне что-то отчаянно боролось. Что-то, что я не мог распознать, не мог назвать, не мог классифицировать, как привык классифицировать всё в своей жизни — людей, чувства, ситуации, раскладывая их по аккуратным полочкам, навешивая ярлыки, лишая права на сложность и неоднозначность. Я привык к ясности. Я привык к определённости. Я привык знать, кто я, что я делаю и почему. Но сейчас, после того как я увидел её — Мелису, — я не знал ничего.

Вся моя картина мира, такая стройная, такая понятная, такая выверенная до мелочей, вдруг покачнулась, словно здание на неустойчивом, гнилом фундаменте, и в стенах пошли трещины — глубокие, уродливые, грозящие обрушить всё.

Я увидел Мелису — и мне захотелось отмотать время. Отмотать на восемь лет назад, в ту самую ночь, когда я получил то анонимное сообщение. В ту ночь, когда моя жизнь разделилась на «до» и «после». В ту ночь, когда я поверил. И мне захотелось — до физической боли в груди, до спазма в горле, до того чёрного, вязкого отчаяния, что скручивает внутренности в тугой, кровоточащий узел, — всё переписать. Всё изменить. Всё сделать иначе. Чтобы она была не той, кем оказалась. Не жестокой. Не расчётливой. Не способной на такую чудовищную, леденящую душу, почти патологическую жестокость по отношению к собственной сестре. Чтобы она не избивала и не мучила Селин все эти годы. Чтобы она не нанимала того человека, того подонка, который обесчестил мою жену, лишил её невинности, сломал её жизнь, оставив на её тонких, беззащитных руках те самые синяки — фиолетовые, жуткие, — которые до сих пор иногда снились мне в кошмарах, заставляя просыпаться в холодном поту. Чтобы она осталась той, кем я её считал, — чистой, нежной, трепетной, любящей. Той девочкой, которую я полюбил с первого взгляда, с той самой секунды, когда чуть не сбил её на своей машине на шумной, залитой солнцем улице Этилера. Той Мелисой, ради которой я готов был свернуть горы, переплыть Босфор, достать звезду с неба, отдать жизнь, не задумываясь ни на миг.

Жалко, что нет машины времени. Жалко, что прошлое нельзя переписать, как черновик, — вырвать грязные, исписанные, залитые слезами и кровью страницы и начать заново, с чистого, хрустящего листа. Жалко, что реальность — это не компьютерная программа, где можно нажать «отменить последнее действие» и вернуться к предыдущей сохранённой версии, где всё ещё дышит надеждой. В реальности каждое действие необратимо. Каждое слово, каждый поступок, каждое решение вырезаны на скрижалях времени несмыслаемыми, вечными, беспощадными чернилами.

Я сделал ещё одну затяжку, чувствуя, как сигаретный дым обжигает лёгкие, и заставил себя думать рационально. Так, как привык. Так, как умел. Надо отпустить ситуацию. Надо принять реальность такой, какая она есть — уродливой, жестокой, несправедливой, — а не такой, какой мне хотелось бы её видеть в своих глупых, инфантильных мечтах. Мелиса — жестокая, лживая, расчётливая женщина, которая хладнокровно разрушила жизнь моей жены. Это факт. Доказанный, подтверждённый, неопровержимый факт, который я знал все эти восемь лет и в котором ни разу, ни на секунду не усомнился. Я не должен позволять её сегодняшнему появлению — её этому ослепительному, холодному, отстранённому величию, этой невыносимой, нездешней красоте — поколебать мою уверенность. Я должен держаться за Селин. За мою бедную, многострадальную, невинную Селин, которая прошла через ад по вине этой женщины и которая сейчас, там, в коридоре, дрожит от одного её вида, как перепуганный ребёнок. Я должен защищать жену, а не размышлять о том, как выглядела её сестра в этом чёртовом белоснежном, царственном костюме.

Я должен. Я обязан. Я поклялся перед Богом и людьми.

Но чёрт возьми, как же это было трудно. Как невыносимо, мучительно трудно — убеждать себя в том, в чём, кажется, уже начал сомневаться. Потому что где-то там, в самой тёмной, самой потаённой глубине души, куда я сам боялся заглядывать, уже поселился крошечный, назойливый, ядовитый, как змеиный яд, вопрос. Вопрос, который я гнал от себя все эти годы. Вопрос, который я запрещал себе задавать. Вопрос, который сейчас, после всего увиденного и услышанного, стал невыносимо громким, оглушительным: а что, если?..

Что, если я ошибся? Что, если Селин... Что, если всё было не так, как она рассказала тем дрожащим, полным слёз голосом? Что, если я, ослеплённый яростью и жалостью, поверил в чудовищную, непредставимую ложь? Что, если...

Нет. Я тряхнул головой, отгоняя эту мысль, как отгоняют назойливую, жужжащую муху. Не смей. Не смей даже думать об этом. Ты видел синяки — собственными глазами, не на фотографиях. Ты видел справку из больницы — официальную, с печатями и подписями. Ты видел её слёзы — настоящие, горячие, солёные. Ты видел, как она дрожала, рассказывая о том, что с ней сделали — как ломали её тело и душу. Селин не могла лгать. Не могла так играть. Это невозможно. Это противоречит всему, что ты о ней знаешь. Противоречит самой природе человека.

Но голос, противный, вкрадчивый, словно принадлежащий самому дьяволу, голос внутри меня, не унимался. Он нашёптывал, впрыскивая яд прямо в мозг: а ты уверен? Ты уверен, что знаешь её? Ты уверен, что вообще знаешь хоть кого-то в этой семейке, полной тайн и скелетов в шкафах? Посмотри на её братьев — они не дураки. Они умные, проникательные, жёсткие люди. И они выбрали Мелису. Они всегда выбирали Мелису, с самого детства. Почему? Почему они ни разу не заступились за «бедную», «несчастную» Селин? Почему смотрели на тебя с таким ледяным, уничтожающим презрением все эти годы? Ты никогда не задавал себе этот вопрос — или просто боялся задать, боялся услышать ответ?

Вдруг входная дверь больницы с тем же мягким, пружинящим звуком открылась, и из неё вышли двое. Я сразу узнал их — белую фигуру и высокого, худощавого мужчину рядом с ней. Мелиса и её ассистент. Они шли через больничный двор, направляясь к стоянке машин, и о чём-то негромко, сосредоточенно переговаривались. Я видел, как Мелиса кивает, как её ассистент что-то показывает ей в планшете, как она коротко, по-деловому отвечает, жестикулируя свободной рукой — той самой, что завтра будет держать скальпель над сердцем моего деда. Они обсуждали завтрашнюю операцию — это было очевидно. И в том, как она двигалась, как говорила, как держалась, было столько абсолютной, неколебимой уверенности, столько компетентности, столько холодного, отточенного профессионализма, что у меня на мгновение перехватило дыхание. Передо мной была не та юная, смешливая девушка, которую я помнил. Передо мной была женщина-воин, врач, спасающая жизни. И она была великолепа.

Она дошла до своей машины, припаркованной в дальнем углу стоянки, а я всё так же непрерывно, не мигая, наблюдал за ней, словно замороженный. Я не отводил взгляда, смотрел в упор, впитывая каждое её движение. Вот она разблокировала машину, закинула свою сумку на заднее сиденье автомобиля, открыла водительскую дверь, подняла голову — и вдруг столкнулась со мной взглядом. Та Мелиса, которую я знал когда-то, отвела бы взгляд, засмушалась, покраснела бы до корней волос. А эта смотрела ровно, холодно, неумолимо — я чувствовал этот ледяной, пробирающий до костей холод даже издалека. В её взгляде не было ни злости, ни обиды, ни сожаления. Только холодное узнавание и полное, уничтожающее равнодушие. Она села за руль, завела машину и начала выезжать с территории больницы. И именно в этот момент на территорию въехала машина отца. Он припарковался, вышел — сначала он, за ним мать, оба встревоженные, дёрганные. Они заметили меня и почти бегом поспешили в мою сторону.

— Явуз, сынок, это была Мелиса? Та, самая Мелиса? — спросила мать, глядя на меня широко раскрытыми, испуганными глазами, в которых уже читалось понимание.

— Да, мама, это была Мелиса. Но уже не та самая. Она сменила фамилию, она теперь Мелиса Эроглу, кардиохирург из Анкары, — ответил я, глядя в какую-то пустоту, в то место, где только что скрылась её машина, чувствуя, как слова царапают горло.

— Ты хочешь сказать — отец мучительно подбирал слова, и я видел, как ходят желваки на его скулах, как бледнеет его лицо, — Что она будет оперировать деда?

Он ошарашенно смотрел на меня, ожидая, что я опровергну, рассмеюсь, скажу, что это глупая шутка. Но я молчал, и тишина была красноречивее любых слов. А я вдруг задумался и с ужасающей, ошпаривающей ясностью понял, что мы все тут трусы. Самые настоящие, жалкие трусы, которые испугались за свою драгоценную репутацию, за мнение каких-то невидимых

наблюдателей. А она не боялась. Она просто приехала спасти жизнь человеку, который предал её. Приехала, потому что она врач, и в этом было всё.

— Да — выдохнул я одними губами, и это короткое слово прозвучало как приговор.

— Какие же мы все ничтожные люди — прохрипел отец, и я впервые в жизни услышал в его голосе не властность, а боль и стыд. — Мы отказались оперировать, прикрываясь родственными связями, только чтобы не замарать репутацию. А она её он же — он не мог подобрать слов, захлёбываясь в собственном позоре.

И тут из машины отца, опираясь на трость, тяжело, но с достоинством, вышла бабушка. Моя бабушка — старая, мудрая, всё понимающая, видящая насквозь. Она смотрела на нас, на своего сына и внука, и в её выцветших глазах плескалась вековая усталость.

— Да, говори, сынок, — обратилась она к отцу, и голос её был тих, но звенел сталью. — Он, её дед, её предал, выгнал, уничтожил, а этот, что значится твоим сыном, — она кивнула в мою сторону, и я почувствовал себя букашкой под микроскопом, — опозорил её, променяв на дешёвку свою жену. Ох и дураки вы. Слепые, глупые дураки. Что будет, когда узнаете правду?

— Бабушка! Хватит! Не желаю слушать этот бред! — взорвался я, потому что каждое её слово било точно в цель, в самое больное место, в ту самую кровоточащую рану, которую я так старательно прятал.

— Ты на бабушку-то не ори, — рявкнула на меня мама так, что я осёкся на полуслове. — Господи, мама, что пошло не так в его воспитании? — обратилась она к бабушке, и в её голосе звучала такая горечь, что мне стало тошно. — Я вырастила плохого мужчину. Слабого. И глупого.

— Ох и не знаю, моя Мирай, ох не знаю, дочка, — она покачала головой, и этот простой жест был страшнее любого крика.

А я просто не мог слушать всё это. Каждое слово было ударом хлыста по оголённым нервам. Я развернулся, почти физически ощущая их взгляды на своей спине, и пошёл обратно в больницу, в этот каменный мешок, где меня ждала моя Селин. Я поднялся на этаж, всё ещё дрожа от разговора, увидел её — одну, стоящую у окна, такую маленькую и беззащитную в этом больничном полумраке, — подошёл к ней и обнял крепко-крепко, до хруста, словно пытаюсь удержать ускользающую реальность.

— Явуз, где ты был? — с упреком, с обидой, с требованием спросила она. — Почему ты оставил меня одну!?

— Я просто дышал воздухом.

Да, я просто дышал. Просто дышал воздухом, который больше не приносил облегчения. Просто пытался найти в себе хоть что-то, за что можно было бы зацепиться. Пытался — и не находил.

Глава 10 Мелиса

Утро следующего дня началось с леденящего, почти неестественного спокойствия. Я проснулась за несколько минут до того, как прозвенел будильник, — старая, выработанная годами привычка хирурга, который привык вставать раньше любых звонков, раньше солнца, раньше всего мира. Несколько секунд я лежала неподвижно, глядя в белый потолок гостиничного номера и прислушиваясь к тишине. За окном только-только начинало сереть — Стамбул, мой бывший город, просыпался медленно, нехотя, словно старый, ленивый кот, потягивающийся после долгой ночи. Где-то вдалеке, за плотной завесой утреннего тумана, слышался первый, ещё робкий гул машин. Перекрикивались чайки над Босфором — их резкие, гортанные голоса пробивались даже сквозь закрытые окна.

Я откинула одеяло и села на край кровати, сделала три глубоких вдоха — ритуал, которому научил меня профессор Коркмаз, — и почувствовала, как последние остатки тревоги растворяются и исчезают. Сегодня был день операции. Самой важной операции в моей жизни — не по сложности, нет, с технической точки зрения я делала такие раньше. Но по эмоциональному весу, по символическому значению эта операция превосходила всё, что мне доводилось делать.

Я встала и направилась в ванную. Душ, волосы, собранные в тугий пучок, лёгкий макияж. Затем я подошла к шкафу и достала платье — тёмно-синее, почти чёрное, из мягкой, струящейся ткани. То самое платье, которое обожал мой сын. «Мама, ты в нём выглядишь как королева», — говорил он каждый раз, когда я его надевала. На лацкан я приколотла серебряную брошь в виде сердца — подарок Эфе на прошлый день рождения. «Ты чинишь сердца, а это будет твоё. Оно всегда будет с тобой». Я коснулась броши кончиками пальцев и на мгновение прикрыла глаза, представляя лицо сына.

— Я справлюсь, мой хороший, — прошептала я. — Обещаю тебе.

Я спустилась в ресторан рядом с гостиницей — уютное семейное заведение, которое работало с шести утра. Заказала яичницу из двух яиц с помидорами, шпинатом и болгарским перцем, щедро приправленную острыми специями, цельнозерновой тост, свежавыжатый апельсиновый сок и большую чашку чёрного кофе без сахара. Ела не торопясь, тщательно пережёвывая, запивая каждый кусок глотком сока. Хирургу нужна энергия. Хирургу нужна ясность ума. И хирургу нужен хороший завтрак перед десятью часами непрерывной работы.

В половине восьмого я уже входила в двери больницы. Охранник на проходной, узнавший меня, молча кивнул. Я поднялась на третий этаж, прошла в ординаторскую, переделалась в свой хирургический костюм — тёмно-синий, идеально подогнанный по фигуре, привезённый из Анкары, — и направилась в операционную номер три.

Операционная встретила меня ярким, холодным светом хирургических ламп, запахом хлоргексидина и спирта, и той особой, почти сакральной тишиной, которая всегда царит здесь перед началом сложной операции. Аппарат искусственного кровообращения стоял наготове — огромный, сложный механизм, который через час с небольшим возьмёт на себя функцию сердца и лёгких моего пациента. Мониторы мерцали синими и зелёными огоньками, вычерчивая пока ещё ровные линии. На инструментальном столике были разложены скальпели, зажимы, пинцеты, иглодержатели, ножницы Поттса, зажимы Дебейки — целый арсенал, который через несколько минут окажется в моих руках.

Дениз уже был здесь. Он проверял канюли для подключения к АИКу, сосредоточенно сверяя их размеры с данными ЭХО-КГ пациента, которые были выведены на отдельный монитор. Рядом с ним стояли Сезер и Аслан — молодые ординаторы, которые вчера сидели в ординаторской с круглыми от волнения глазами, а теперь, облачённые в стерильные халаты и перчатки, готовились ассистировать при операции, которую они запомнят на всю жизнь. Оба

старались держаться уверенно, но я видела, как подрагивают пальцы Сезера, поправляющего инструменты на столике, и как Аслан слишком часто сглатывает.

— Сезер, Аслан, — произнесла я, и оба мгновенно повернули головы в мою сторону, — сегодня вы ассистируете при операции Бенталла де Боно. Это одна из самых сложных операций в кардиохирургии. От вас требуется максимальная концентрация. Никакой самодеятельности. Чётко выполняете мои команды. Если что-то непонятно — спрашиваете. Если устали или чувствуете головокружение — говорите сразу. Я не потерплю героизма в своей операционной. Всё ясно?

— Да, Мелиса Ханым, — произнесли они почти хором, и я отметила про себя, что страх в их глазах сменился чем-то похожим на решимость.

В углу операционной, на специальном стуле для наблюдателей, уже сидел Джемиль-бей. Он был в полном хирургическом облачении — халат, маска, шапочка, — словно тоже готовился встать к столу. Но я знала: он не будет вмешиваться. Он пришёл смотреть. Пришёл вспомнить то, что когда-то умел делать сам. Пришёл поддержать меня своим молчаливым присутствием. Он поймал мой взгляд и едва заметно кивнул — коротко, уважительно, почти ободряюще. Я ответила ему таким же кивком.

Я подошла к раковине и начала мыть руки. Этот ритуал я повторяла тысячи раз, но сегодня он казался особенным, почти торжественным. Горячая вода, мыло с хлоргексидином, стерильная щётка. Я тёрла каждый палец, каждую складку, каждый ноготь, считая про себя до тридцати, как учили на первой же лекции по асептике. От кончиков пальцев до локтей — ни одного пропущенного миллиметра. Когда руки стали хирургически чистыми, я подняла их вверх, удерживая на уровне груди, чтобы вода не стекла с локтей обратно на кисти. Операционная сестра — немолодая, опытная женщина по имени Сема, с которой я познакомилась вчера, — подошла ко мне со стерильным халатом. Я просунула руки в рукава, она завязала тесёмки на спине, а затем подала мне стерильные перчатки. Я натянула их на пальцы медленно, тщательно, проверяя каждый миллиметр на предмет проколов. Затем поправила маску на лице, кивнула анестезиологу и подошла к операционному столу.

Мой дед лежал передо мной. Ильяс Кылыч. Человек, который когда-то сажал меня на колени и читал мне притчи. Человек, который через час с небольшим будет полностью зависеть от твёрдости моей руки.

Он был без сознания — анестезиолог, пожилой мужчина с цепким взглядом по имени Рыза-бей, уже ввёл его в глубокий, медикаментозный сон. Эндотрахеальная трубка была вставлена в дыхательные пути, аппарат ИВЛ мерно нагнетал воздух в лёгкие, заставляя грудную клетку ритмично подниматься и опускаться. Центральный венозный катетер был введён в подключичную вену, от него тянулись прозрачные трубки к инфузомам, которые с тихим жужжанием вводили в кровь пациента анестетики, миорелаксанты и антибиотики. На груди были закреплены электроды кардиомонитора, и на экране пульсировала знакомая кривая — синусовый ритм, ослабленный, с редкими экстрасистолами, но пока ещё стабильный. Фракция выброса, которую я видела на отдельном мониторе ЭХО-КГ, держалась на отметке тридцать четыре процента — критически низко.

Его лицо было спокойным, почти умиротворённым — ни следа той ярости, что горела в его глазах вчера, когда он узнал меня. Грудная клетка, обработанная антисептиком и обложенная стерильными простынями, была готова к разрезу. Я обвела взглядом операционную. Дениз стоял напротив меня, готовый ассистировать. Сезер и Аслан — справа и слева. Сема — у инструментального столика. Рыза-бей — у головы пациента, не сводя глаз с мониторов, отслеживающих жизненные показатели. Джемиль — в углу, неподвижный, как статуя.

Я сделала глубокий вдох. Выдох. И протянула руку.

— Скальпель.

Сема вложила скальпель в мою раскрытую ладонь. Я почувствовала знакомую, чуть шершавую рукоятку, привычную тяжесть инструмента — того самого, который держала в руках сотни раз до этого. Рука не дрожала. Ни капли. Я склонилась над пациентом, выбрала точку на груди — ровно по срединной линии, от яремной вырезки до мечевидного отростка, — и сделала первый, точный, выверенный до миллиметра разрез.

Кожа разошлась, обнажая подкожно-жировую клетчатку — желтоватую, пронизанную мелкими кровеносными сосудами. Кровь выступила маленькими, тёмно-рубиновыми капельками. Дениз тут же промокнул их стерильной салфеткой, открывая мне обзор.

— Коагулятор.

Я взяла электрокоагулятор и начала медленно, методично продвигаться вглубь, прижигая мелкие сосуды на своём пути. Характерный запах прижжённой плоти наполнил воздух операционной — запах, к которому я давно привыкла, который стал неотъемлемой частью моей работы. Электрокоагулятор издавал короткое шипение каждый раз, когда касался кровоточащего сосуда, оставляя после себя крошечный, аккуратный струп. Слои за слоями, сантиметр за сантиметром, я продвигалась вглубь — подкожная клетчатка, фасция, мышцы. Кровотечение было минимальным — я работала аккуратно, стараясь не повредить ни одного крупного сосуда.

— Ретрактор.

Сезер подал мне ранорасширитель, и я установила его, разводя края разреза в стороны и открывая доступ к груди. Передо мной лежала кость — широкая, крепкая, белая, — за которой скрывались главные цели сегодняшней операции: аорта, аортальный клапан и сердце.

— Пила.

Операционная сестра подала мне стернотом — электрическую пилу для распиливания грудины. Я включила её, и высокий, пронзительный вой инструмента заполнил операционную. Приставив лезвие к верхнему краю грудины, я начала медленно, аккуратно вести пилу вниз, вдоль срединной линии, чувствуя, как вибрирует инструмент в моих руках, как сопротивление кости сменяется лёгкостью прохождения через губчатое вещество. Характерный треск распиливаемой кости, запах костной пыли, металлический привкус во рту — всё это было до боли знакомо, и ничто из этого не могло выбить меня из состояния сосредоточенного спокойствия. Через минуту грудь была разделена ровно, аккуратно, без осколков.

— Ретрактор для грудины.

Аслан подал мне расширитель. Я установила его между двумя половинками распиленной грудины и начала медленно, осторожно разводить их в стороны, открывая доступ к средостению. Края раны натянулись, и под ними показалась тонкая, полупрозрачная плёнка перикарда — сердечной сумки.

Переднее средостение было заполнено рыхлой жировой тканью, сквозь которую смутно угадывались очертания сердца. Я работала быстро, но без спешки — каждое движение было выверенным, отработанным, доведённым до автоматизма. Дениз, Сезер и Аслан слаженно ассистировали: один промокал кровь, другой подавал инструменты, третий удерживал ретрактор в нужном положении. Мы работали как единый, отлаженный механизм, и это чувство слаженности, командной работы, было одним из самых ценных в моей профессии.

— Ножницы.

Я взяла ножницы для рассечения перикарда и сделала аккуратный продольный разрез. Под тонкой оболочкой показалось сердце. Огромное, раздутое, с расширенным левым желудочком — оно билось прямо у меня перед глазами, ритмично сокращаясь и расслабляясь, словно живое существо, попавшее в ловушку. Туда-сюда, туда-сюда. Я видела, как вздувается восходящий отдел аорты — аневризма была видна невооружённым глазом, огромная, угрожающая, пульсирующая в такт сердечным сокращениям. Стенка сосуда была истончена до предела, почти прозрачна, и сквозь неё просвечивала тёмная кровь. Каждое сокращение сердца

могло стать последним — стенка могла не выдержать, расслоиться, и тогда пациента было бы уже не спасти.

— Красивое сердце, — тихо произнесла я, и это был не комплимент. Это была констатация факта — сердце, даже больное, даже измученное болезнью, всегда остаётся красивым в своей сложности и совершенстве.

— Давление? — спросила я, не отрывая взгляда от операционного поля.

— Сто пятнадцать на семьдесят. Стабильно, — ответил Рыза-бей.

— Сатурация?

— Девяносто восемь процентов.

— Отлично. Приступаем к канюляции. Дениз, готовь АИК.

Аппарат искусственного кровообращения — самый сложный механизм, который на время операции заменит сердце и лёгкие пациента, — уже был проверен и готов к работе. Перфузиолог, молодой человек по имени Эмре, стоял у аппарата, положив руки на панель управления. Дениз подал мне канюли — тонкие, гибкие трубки, которые нужно ввести в крупные сосуды, чтобы подключить пациента к АИКу.

— Кисетный шов на аорту. Prolene 3-0.

Я наложила кисетный шов на стенку восходящего отдела аорты — чуть выше аневризмы, там, где стенка сосуда была ещё относительно прочной. Затем сделала небольшой надрез скальпелем внутри кисетного шва и ввела артериальную канюлю, соединив её с магистралью АИКа. Затянула кисетный шов, фиксируя канюлю. Теперь, когда аппарат будет включён, насыщенная кислородом кровь будет поступать в организм пациента через эту трубку.

— Кисетный шов на правое предсердие.

Следующая канюля — венозная. Я наложила кисетный шов на ушко правого предсердия, сделала надрез и ввела канюлю. По ней кровь будет оттекать от пациента к АИКу, чтобы пройти через оксигенатор и насос.

— Кардиоплегическая канюля.

Я ввела ещё одну тонкую трубку в корень аорты — через неё будет подаваться кардиоплегический раствор при остановке сердца. Закончив канюляцию, я проверила все соединения, все швы, все фиксации.

— Всё готово. Начинаем искусственное кровообращение.

Эмре запустил АИК. Аппарат загудел, оживая, и кровь пациента, до этого циркулировавшая только в его собственном теле, устремилась по прозрачным трубкам в оксигенатор. Я следила за показателями на мониторе. Давление стабильно. Сатурация — сто процентов. АИК работал безупречно. Теперь сердце и лёгкие пациента были отключены от кровообращения. Их функции взял на себя аппарат. Можно было приступить к основному этапу операции.

— Кардиоплегия.

Я ввела холодный, богатый калием кардиоплегический раствор прямо в коронарные артерии через установленную канюлю. Раствор, охлаждённый до четырёх градусов, хлынул в коронарное русло, заполняя сосуды и достигая сердечной мышцы. Я видела, как сердце, ещё мгновение назад энергично сокращавшееся, начало замедляться. Сокращения становились всё реже, всё слабее, всё менее координированными — и наконец остановились совсем. Электрическая активность на мониторе сменилась прямой линией. Сердце замерло в диастоле — полностью расслабленное, неподвижное, холодное. Идеальные условия для работы.

— Сердце остановлено. Начинаю иссечение аневризмы.

Я взяла скальпель и сделала разрез стенки аорты чуть выше аневризматического расширения. Кровь — та, что оставалась в аорте на момент остановки сердца, — выплеснулась наружу и была немедленно отсосана в аспиратор. Разрез за разрезом, я аккуратно отделяла раздутую, истончённую стенку аорты от здоровой ткани вокруг. Аневризма была огромной — не меньше шести сантиметров в диаметре, — и её стенка напоминала старую, изношенную

ткань, готовую разорваться от малейшего прикосновения. Я работала предельно осторожно, буквально ювелирно, боясь повредить тонкую, как папиросная бумага, стенку сосуда. Одно неверное движение — и она лопнет, и тогда кровь хлынет в средостение так, что мы не успеем её остановить.

— Ножницы Поттса.

Я взяла изогнутые ножницы и начала аккуратно иссекать поражённый участок аорты, отделяя его от аортального кольца внизу и от здоровой части аорты вверху. Каждый миллиметр, каждый срез, каждое движение было выверено. Дениз, Сезар и Аслан, затаив дыхание, следили за моими руками — они знали, что это самый опасный этап операции. Одно неловкое движение — и аневризма может разорваться прямо в руках. Это была бы катастрофа.

Но мои руки не дрожали. Они двигались плавно, уверенно, почти автономно, словно у них была собственная память, не зависящая от моего сознания. Я отсекала аневризматический мешок и отложила его в лоток, который тут же подставила Сема. Теперь передо мной было аортальное кольцо — основание аортального клапана, которое тоже требовало замены.

— Аортальный клапан.

Я склонилась ниже, всматриваясь в створки аортального клапана. Они были кальцинированы — покрыты твёрдыми, жёлтоватыми отложениями кальция, которые делали их жёсткими и неподвижными. Именно это и было причиной его критической недостаточности: створки не могли полностью смыкаться, пропуская кровь обратно в левый желудочек с каждым сокращением. Я аккуратно, лепесток за лепестком, иссекла все три створки, убирая кальцификаты и очищая аортальное кольцо. Теперь на их место нужно было установить протез.

— Измерьте диаметр кольца.

Дениз подал мне калибратор, и я измерила диаметр аортального кольца. Двадцать три миллиметра. Я выбрала соответствующий механический протез — диск из пиролитического углерода, заключённый в титановый корпус, — и начала имплантацию. Нить Prolene 2-0, иглодержатель, и я принялась накладывать швы по окружности аортального кольца. Шов за швом, стежок за стежком — пятнадцать отдельных швов, и каждый из них должен был быть безупречным. Я затягивала их с определённым, точно рассчитанным усилием — достаточно туго, чтобы протез держался надёжно, но не настолько, чтобы прорезать ткани. Когда последний шов был затянут, я проверила, как створки протеза открываются и закрываются. Движение было плавным, свободным, без заеданий. Отлично.

Джемиль-бей, сидевший в углу, едва слышно выдохнул и пробормотал что-то одобрительное. Я не расслышала слов, но мне было достаточно тона.

— Теперь протез аорты.

Следующим этапом нужно было установить сосудистый протез, который заменит иссечённый участок аорты. Учитывая, что аортальный клапан и восходящая аорта заменяются единым комплексом, я использовала готовый клапаносодержащий конduit — дакроновую трубку с уже вшитым в неё механическим клапаном. Это значительно упрощало процедуру и уменьшало время искусственного кровообращения. Я примерила конduit, подогнала его по длине, и начала вшивать его в аортальное кольцо и в дистальный конец аорты. Нить Prolene 4-0 — тонкая, прочная, почти невидимая, — и бесконечная серия стежков. Непрерывный обвивной шов, каждый стежок — на одинаковом расстоянии от предыдущего, с одинаковым натяжением. Это была ювелирная работа, которая требовала от меня максимальной концентрации. В операционной стояла абсолютная тишина, если не считать ритмичного писка мониторов и жужжания АИКа.

Час проходил за часом. Я не чувствовала усталости — только сосредоточенность, только работу, только движение своих рук, которые словно жили отдельной жизнью. Но я знала: усталость придёт позже, когда операция закончится и уровень адреналина упадёт. А пока — пока нужно было продолжать.

— Проверяем герметичность анастомозов.

Я попросила Эмре временно снизить подачу кардиоплегии и повысить давление в аорте. Кровь устремилась в протез, и я внимательно осмотрела все швы. Ни одного просачивания. Ни одной капли. Герметичность полная.

— Отлично. Теперь — аортокоронарное шунтирование.

На коронарографии, которую я изучила вчера, был выявлен стеноз передней межжелудочковой артерии — примерно шестьдесят процентов. Я решила, что шунтирование необходимо, чтобы обеспечить адекватное кровоснабжение сердечной мышцы в послеоперационном периоде. Дениз подал мне большой подкожный нерв — отрезок вены, который мы заранее подготовили в качестве шунта, — и я начала вшивать его одним концом в коронарную артерию ниже места стеноза, а другим — в восходящую аорту. Ещё два анастомоза, ещё десятки стежков, ещё полчаса работы. Но теперь всё было готово.

Я выпрямилась и обвела взглядом операционное поле. Протез аорты стоял ровно. Клапан работал исправно. Шунт был на месте. Можно было запускать сердце.

— Снимаем зажим с аорты. Прекращаем кардиоплегию. Согреваем пациента.

Эмре начал повышать температуру крови в оксигенаторе. Холодная, почти ледяная кровь, циркулировавшая в пациенте, начала постепенно теплеть. Я видела, как сердце, неподвижно лежавшее в грудной клетке, начинает реагировать на тепло. Сначала — едва заметное подрагивание. Потом — слабое, неуверенное сокращение. Потом — ещё одно, более сильное.

— Дефибриллятор наготове.

Иногда сердце не запускается самостоятельно после остановки, и тогда требуется разряд дефибриллятора. Я взяла в руки электроды, готовая в любой момент применить их. Но сердце моего пациента, видимо, решило, что с него хватит на сегодня испытаний.

Оно дрогнуло. Ещё раз. И вдруг — сократилось. Сильно, уверенно, координированно. На мониторе вспыхнула знакомая кривая — синусовый ритм, ровный, чёткий, прекрасный. Сердце билось. Билось самостоятельно, без помощи аппарата. Билось с новым клапаном в новой аорте, с новым шунтом, качая кровь по сосудам, как ни в чём не бывало.

— Мы сделали это, — тихо сказал Дениз, и в его голосе было столько облегчения, что я невольно улыбнулась под маской.

— Рано радоваться. Проверяем все анастомозы. Электрическая активность — есть. Механическая активность — есть. Гемодинамика стабильная?

— Давление сто на семьдесят. Сатурация — девяносто девять процентов, — ответил Рыза-бей, и я услышала в его голосе ту же радость, что и у Дениза.

— Отлично. Отключаем АИК.

Эмре начал постепенно снижать обороты насоса, уменьшая поток крови через аппарат. Сердце пациента, которому теперь предстояло работать самостоятельно, реагировало на это небольшим учащением ритма — адаптировалось. Когда АИК был полностью отключён, а канюли удалены, я ещё раз проверила все показатели.

Давление — сто пятнадцать на семьдесят пять. Ритм — синусовый, восемьдесят два удара в минуту. Сатурация — девяносто девять процентов. Фракция выброса по данным транспищеводной ЭХО-КГ — сорок пять процентов и, кажется, будет расти. Новый протез работал безупречно.

— Дренажи.

Я установила в грудную полость две дренажные трубки, которые будут отводить остатки крови и жидкости в послеоперационном периоде. Затем — грудинные швы. Толстая, прочная стальная проволока, которой я стянула края распиленной грудины. Запах костной пыли, короткий скрежет металла — и грудина была зафиксирована. Теперь — мышечные швы. Кожные швы. Последний узел. Последний срез нити.

Я выпрямилась и отступила от стола.

— Операция завершена. Время?

— Девять часов тридцать четыре минуты, — ответил Дениз, глядя на часы на стене.

Девять с половиной часов. Девять с половиной часов непрерывной работы, непрерывной концентрации, непрерывной борьбы за жизнь. Но мы сделали это. Я сделала это. Я провела операцию на сердце человека, который когда-то вычеркнул меня из своей жизни. И операция прошла успешно.

Я стянула перчатки с рук и бросила их в специальный контейнер. Затем стянула маску с лица и впервые за девять с половиной часов вдохнула воздух операционной полной грудью — прохладный, пахнущий антисептиками и кровью, но такой долгожданный.

— Сезер, Аслан, переводите пациента в реанимацию. Дениз, спасибо за работу. Рыза-бей, Сема, — я обвела взглядом операционную бригаду, — всем спасибо. Вы блестяще сработали.

Я повернулась, чтобы уйти, и встретилась взглядом с Джемилем. Он поднялся со своего стула — медленно, почти торжественно, — и направился ко мне. Его старые, усталые глаза сияли.

— Мелиса Ханым, — произнёс он, и его низкий, хрипловатый голос дрогнул. — За тридцать лет в этой больнице я видел сотни, тысячи операций. Многие из них были хорошими. Но то, что я увидел сегодня... — он замолчал, подыскивая слова, и его узловатые, старые пальцы легонько сжали моё плечо. — Это была лучшая операция Бенталла, которую я когда-либо наблюдал. Вы — настоящий мастер. И я благодарю Аллаха, что мне довелось поработать с вами в одной операционной.

Я смотрела на него — на этого старого, уставшего хирурга, который когда-то был блестящим специалистом, но ушёл в административную работу, — и чувствовала, как к горлу подступает комок. Не от гордости. От благодарности.

— Спасибо, Джемиль-бей, — ответила я тихо. — Это самая высокая оценка, которую я могла получить.

Я вышла из операционной в предбанник и прислонилась спиной к прохладной кафельной стене. Ноги гудели. Спина ныла. Руки, только что державшие человеческое сердце в прямом смысле слова, дрожали — теперь, когда адреналин начал отступать, тело брало своё. Но внутри меня пело что-то невероятное, эйфорическое. Я сделала это. Я спасла жизнь человеку, который когда-то меня предал. Я доказала — прежде всего самой себе, — что я настоящий профессионал. И теперь я могу вернуться домой. К своему сыну. К своей настоящей жизни.

Я стянула хирургическую шапочку, и мои волосы рассыпались по плечам. Сняла халат, бросила его в корзину для грязного белья. Подошла к раковине, умылась холодной водой, смывая с лица остатки напряжения. Посмотрела на себя в зеркало. Уставшая, но довольная. Счастливая — да, именно счастливая — женщина, которая только что провела лучшую операцию в своей жизни.

Теперь оставалось только дождаться, пока пациента переведут из реанимации. И тогда — обратно в Анкару. К Эфе. К моему маленькому мужчине, который ждал меня и который, как я знала, уже, наверное, сто раз спросил у тёти Зейнеп: «А когда мама вернётся?»

— Скоро, сынок, — прошептала я своему отражению. — Очень скоро. Мама возвращается.

Глава 11 Явуз

Девять с половиной часов. Мы просидели в этом прокуренном страхом коридоре девять с половиной часов, и время превратилось в пытку. Каждая минута растягивалась до бесконечности, каждая секунда отдавалась в висках глухим, пульсирующим стуком. Стрелки часов ползли по циферблату с издевательской медлительностью: шесть утра сменилось восемь, восемь перетекло в полдень, полдень растворился в двух часах дня. Солнце успело подняться над Стамбулом, залить ярким светом больничные окна и начать неумолимый спуск к закату, окрашивая коридор в янтарные тона. А мы всё сидели — на жёстких скамьях, на подоконниках, на принесённых из палат стульях, — и ждали.

Ждали, когда закроются эти проклятые двери операционного блока. Ждали, когда кто-нибудь выйдет и скажет: жив дед или нет. Ждали, когда женщина, которую я когда-то любил больше жизни, а теперь презирал всей душой, закончит свою работу.

Весь коридор был забит роднёй. Казалось, весь Стамбул собрался здесь — от глубоких стариков до младенцев на руках, перепуганных матерей. Все хотели быть рядом. Все хотели поддерживать друг друга. Все хотели засвидетельствовать — пусть даже издалека, — как решается судьба главы семьи Кылынч.

Мои родители приехали ещё вчера вечером, почти сразу после того, как я рассказал им, кто будет оперировать деда. Отец, Омер Аслан, держался с каменным спокойствием — привычная маска хирурга, который повидал сотни смертей и сотни чудесных спасений. Но я знал его достаточно хорошо, чтобы заметить то, что скрывалось под этой маской. Лёгкое напряжение в уголках губ. Морщинку на переносице. Пальцы, слишком часто перебирающие чётки. Он волновался. Волновался не меньше любого из нас. Просто умел это скрывать.

Мать, Айше, сидела рядом с ним, вцепившись в его локоть, и её глаза были красными от невыплаканных слёз. Она никогда особо не жаловала деда — слишком суровым и властным он ей казался. Но сейчас, когда его жизнь висела на волоске, она забыла все обиды и молилась — тихо, истово, с той отчаянной верой, которая появляется у людей только перед лицом большой беды.

Вчера, когда я сообщил отцу, кем стала Мелиса, он долго молчал. Сидел, уставившись в одну точку на стене, и молчал. А потом сказал — тихо, почти шёпотом, но с таким весом в голосе, что я запомнил каждое слово:

— Мелиса Эроглу Ученица Коркмаза. Она провела ту самую пересадку сердца три года назад. Вся Турция об этом говорила. Молодец девочка, многого добилась одна. Без связей, без протекции, просто упорством и талантом.

Я тогда не нашёлся, что ответить. Слишком противоречивые чувства боролись во мне. С одной стороны — профессиональное уважение, которое невольно внушал отец своим тоном. С другой — глухая, животная ярость от того, что эта женщина, совершившая столько зла, посмела не просто выжить, а преуспеть. Возвыситься. Стать кем-то значительным. И ещё — смутное, неприятное чувство, похожее на неужели стыд? Нет. Не может быть. Мне не за что стыдиться. Я защищал свою жену. Я защищал невинную жертву от жестокого монстра. Я поступил правильно.

Правильно.

Я повторял это себе как мантру, но слова отца всё равно царапали изнутри.

Сегодня было не до старых обид. Сегодня на кону стояла жизнь. Но прошлое не отпускало — оно сидело в затылке, дышало в спину, шептало свои проклятия.

Моя бабушка — Лейла Ханым, родная мать моего отца, — приехала утром. Она вошла в коридор тихо, неслышно, опираясь на трость из чёрного дерева, но её появление почувствовали все. Что-то изменилось в воздухе — стало плотнее, напряжённее, пропитаннее ожиданием.

Она не задала ни одного вопроса. Не спросила, кто оперирует. Не потребовала объяснений. Просто села на скамью у стены, выпрямила свою сухую, сгорбленную спину и замерла, глядя на дверь операционной немигающим, пронзительным взглядом.

Я с детства боялся этого взгляда. Боялся, потому что бабушка всегда видела людей насквозь. И она всегда, с самого первого дня, невзлюбила Селин. Не объясняла почему. Просто смотрела на неё тем самым ледяным, оценивающим взглядом и иногда бросала короткие, рубленые фразы, от которых у моей жены опускались руки. «Слишком сладкая улыбка». «Глаза бегают». «Печаль в её историях какая-то театральная». Я тогда злился на бабушку, думал, что она просто старая и придирчивая. Что она не понимает, через что прошла Селин. Что она не видит той боли, которую я видел в глазах своей жены.

Когда я подошёл к ней, чтобы поздороваться, она взяла моё лицо в свои ладони — внезапно тёплые и сильные, несмотря на возраст, — и сказала:

— Ты, Явуз, молись сейчас. Молись, чтобы Аллах открыл тебе глаза. Потому что слепота — страшная болезнь. И лечат её не в клиниках.

Она не уточнила, о какой слепоте говорит. Это и не требовалось.

Я кивнул и отошёл, чувствуя, как внутри закипает глухое раздражение. Бабушка всегда ставила Мелису выше Селин. Всегда. Даже после того, что Мелиса сделала. Даже после того, как я рассказал ей о синяках на руках Селин, о той страшной ночи, о справке из больницы. Бабушка выслушала меня молча, не перебивая, а потом сказала: «Расскажи мне всё это ещё раз, но медленнее. И смотри мне в глаза, когда говоришь». Я рассказывал. Смотрел в глаза. И чувствовал, как её взгляд становится всё тяжелее, всё холоднее, всё непроницаемее. А когда я закончил, она покачала головой и произнесла: «Ты веришь в сказки, внук. Смотри, как бы они не обернулись кошмаром».

Я тогда не понял. Решил, что бабушка просто старая и упрямая. Что она не хочет признавать очевидное. Но сейчас, сидя в этом коридоре и слушая, как бабушка Фатма нагнетает панику, я вдруг вспомнил те слова. И мне стало не по себе.

Селин сидела рядом со мной, вжавшись в моё плечо так, словно хотела слиться со мной в одно целое. Её пальцы, холодные и влажные, судорожно сжимали мою руку — до хруста, до боли, до побелевших костяшек. Она не плакала. Не шептала молитв. Не просила у Аллаха чуда. Она просто сидела, глядя в пустоту, и дышала — прерывисто, поверхностно, словно боялась сделать лишний глоток воздуха.

Я знал, что происходит у неё внутри. Не просто страх за деда — хотя и он, конечно, был. Глубже. Темнее. Она боялась Мелисы. Боялась той, кто превратил её детство в ад. Той, кто избивал её, унижал, травил. Той, кто в конце концов нанял того человека — того подонка, — чтобы он сделал с ней то, о чём она до сих пор не могла говорить без слёз и дрожи в коленях. Боялась, что её мучительница, её палач, сейчас находится в одной операционной с беспомощным телом. И что она может сделать с ним всё что угодно — и никто не сможет это предотвратить.

Я сжал её руку в ответ, сильнее, решительнее, стараясь передать ей свою уверенность. Но внутри меня самой уверенности не было. Ни капли.

Бабушка Фатма, её родная бабушка по матери, с самого утра не закрывала рта. Сидя на скамье напротив, она раскачивалась вперёд-назад и нагнетала обстановку громкими, визгливыми причитаниями:

— Она убьёт его, я знаю. Эта бесстыжая девка только того и ждёт — добить нашего дедушку. Отомстить за то, что мы выгнали её, за то, что не позволили опозорить наше имя. Господь наказывает нас, если мы позволили ей войти в ту палату!

Каждое её слово било по нервам, как молотом. Я чувствовал, как Селин вздрагивает при каждой фразе, как её пальцы сжимают мою руку всё сильнее, как её дыхание становится всё более рваным.

— Бабушка, пожалуйста, — тихо попросил я, стараясь, чтобы голос звучал мягче, чем ощущалось внутри. — Не надо так. Врачи в этой больнице — профессионалы. Они не допустят

— Профессионалы?! — перебила она, и голос её сорвался на визг. — Ты называешь профессионалом девку, которая избивала свою родную сестру, которая отдала её насильникам, а потом опозорила всю семью и сбежала, даже не попрощавшись?! Она и рукой нам не махнула на прощание! Просто растворилась в ночи, как последняя

Она не договорила. Не потому, что осеклась, а потому, что у неё перехватило дыхание от ярости. Она замолчала, тяжело дыша, и её воспалённые, красные глаза горели такой ненавистью, что мне стало не по себе.

Я перевёл взгляд на мать Селин, Филиз. Она сидела, уткнувшись лицом в ладони, и её плечи мелко вздрагивали. Она плакала — беззвучно, надрывно, теми особенными материнскими слезами, которые могут означать всё что угодно: страх за мужа, стыд за дочь, сожаление о прошлом или просто бессилие перед неизбежным. Рядом с ней застыл отец Селин, Хакан. Его лицо было каменным, непроницаемым, как маска. Он не проронил ни слова с самого утра. Просто сидел и смотрел на дверь операционной тяжёлым, немигающим взглядом. В этом взгляде было что-то такое, от чего у меня холодело внутри. Какая-то затаённая боль. Какое-то глубокое знание, которое он носил в себе годами. Иногда мне казалось, что он знает правду, которую скрывает от всех. И эта правда его медленно убивает.

Братья Селин — Эмир, Барыш и Керем — держались особняком. Они заняли скамью в дальнем конце коридора, подальше от всех, и сидели, сцепив руки в замок. Не разговаривали. Не смотрели в нашу сторону. Даже на Селин, на свою родную младшую сестру, не бросали ни единого взгляда. Это бесило меня больше всего. Как они могут? Как они могут поддерживать ту, кто разрушил жизнь их сестры? Неужели они не знают, что Мелиса сделала? Или знают, но им всё равно? Эта мысль жгла меня изнутри, распалила гнев, который я с трудом сдерживал.

В какой-то момент из операционной вышла Сема — пожилая операционная сестра с усталыми, покрасневшими от напряжения глазами. Её появление вызвало в коридоре волну движения: люди вскакивали с мест, вытягивали шеи, затаивали дыхание. Бабушка Фатма перестала раскачиваться и уставилась на медсестру горячечным взглядом.

— Как он? — спросил Хакан, первым поднимаясь на ноги. Его голос звучал глухо, сдавленно. — Девять часов уже прошло. Операция закончена?

Сема посмотрела на нас усталым, но спокойным взглядом человека, который привык сообщать тяжёлые новости.

— Операция ещё не завершена, — сказала она ровно. — Сложнейший этап позади. Пациент стабилен. Врач попросила передать, что всё идёт по плану. И просит сохранять спокойствие.

Она развернулась и скрылась за дверью, оставляя нас снова наедине с нашими страхами.

«Всё идёт по плану». Что это значит? Кто составил этот план? И можно ли верить тому, кто его составил?

Мы ждали дальше. Часы на стене пробили четыре. Свет за окнами начал угасать, и кто-то из медсестёр включил коридорное освещение — тусклое, болезненно-жёлтое, делавшее лица сидящих здесь людей похожими на восковые маски. В воздухе висел густой, спёртый запах страха, усталости и ненависти — странного коктейля, который не поддаётся описанию.

Мой отец всё это время сидел неподвижно, закрыв глаза. Я наклонился к нему и тихо спросил:

— Отец, ты правда веришь, что она справится? После всего, что она сделала?

Отец медленно открыл глаза и посмотрел на меня. В его взгляде, обычно таком твёрдом и уверенном, сейчас читалось что-то новое. Что-то, чего я никогда раньше в нём не видел. Сожаление? Или разочарование во мне?

— Я видел её сегодня утром, — сказал он тихо. — Она шла в операционную. Знаешь, что я заметил? Её руки не дрожали. Совсем. Ни капли. А глаза были спокойными. Холодными. Сосредоточенными. Такие бывают только у хирургов, которые точно знают, что делают. — Он помолчал, собираясь с мыслями. — Я не знаю, что произошло между вами восемь лет назад, сынок. Я не знаю всей правды. Но я знаю одно: Мелиса Эроглу — блестящий хирург. И если она говорит, что операция идёт по плану — значит, так оно и есть.

Он отвернулся и снова закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. А я остался сидеть, переваривая его слова. Мой отец, человек, перед которым преклонялись лучшие кардиохирурги страны, только что сказал, что доверяет Мелисе. Той самой Мелисе, которая избивала свою сестру. Той самой, которая отдала Селин насильникам. Той самой, которая опозорила всю семью своим развратным поведением, а потом сбежала, как трусливая собака.

Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Нет. Я не позволю этим сомнениям закрасться в мою голову. Я знаю правду. Селин рассказала мне всё. Показала синяки. Справку из больницы. Она плакала на моём плече, рассказывая о той страшной ночи, о том, как её, шестнадцатилетнюю, избивали, травили, а потом отдали какому-то чудовищу. Я держал её за руку, когда она заставляла себя говорить. Я видел её слёзы. Я чувствовал её боль. Это не могло быть ложью. Не могло.

Мелиса — чудовище. Жестокое, расчётливое, лицемерное чудовище, которое умело притворяться невинной овечкой. И тот факт, что она стала талантливым хирургом, ничего не меняет. Это просто ещё одна маска. Ещё одна роль, которую она играет.

А может, отец прав? Может, я что-то упустил? Может

Нет. Я тряхнул головой, отгоняя крамольные мысли. Не смей. Не смей сомневаться в Селин.

Я посмотрел на жену. Она сидела, опустив голову, пряча лицо в тени волос. Её плечи вздрагивали. Я обнял её, прижимая к себе, и почувствовал, как её тело бьёт мелкая, нервная дрожь. Она дрожала так, будто у неё был сильный жар. И я не мог её успокоить. Потому что сам дрожал — от ярости, от бессилия, от той глухой, первобытной ненависти, которую я испытывал к женщине за дверями операционной.

А потом — наконец, спустя эту бесконечную, выматывающую череду часов — дверь операционного блока открылась снова.

На этот раз не медсестра. Не санитар. Не анестезиолог.

Она.

Мелиса вышла в коридор, и в тот же миг всё вокруг замерло.

Она стояла в дверях, прислонившись плечом к косяку, и выглядела так, словно прошла через ад и вернулась обратно. Её хирургический костюм был измят и испачкан — пятна крови, йода и физраствора покрывали ткань причудливыми разводами. Шапочку она сняла, и волосы — влажные, растрёпанные, выбившиеся из туго затянутого пучка — рассыпались по плечам. Лицо было бледным, уставшим, с синеватыми тенями под глазами. Губы потрескались и пересохли.

Но глаза

Её глаза горели. В них не было усталости, боли или отчаяния. Только спокойствие. Только уверенность. Только та тихая, безмолвная победа, которую невозможно подделать. Победа человека, который только что держал в руках чужое сердце и не дал ему остановиться.

И в этой победе было что-то такое, от чего меня захлестнула волна ярости. Как она смеет? Как она смеет выглядеть победительницей после всего, что сделала? Как она смеет стоять здесь, перед нами, и смотреть на нас с этим холодным, непроницаемым спокойствием?

Она обвела взглядом коридор — медленно, словно сканируя каждое лицо, каждого из нас, — и на какую-то долю секунды наши взгляды встретились. Я ждал. Ждал, что её взгляд

дрогнет, изменится, станет другим — виноватым, испуганным, умоляющим. Всё что угодно. Лишь бы не это холодное, пустое, ничего не выражающее спокойствие.

Но она не дрогнула. Просто отвела взгляд, как отводят от незнакомца, случайно попавшего в поле зрения, и повернулась к остальным.

— Операция завершена, — произнесла она, и её голос — хриплый, надорванный от девяти с половиной часов непрерывного молчания — разнёсся по коридору, ударяясь о стены и возвращаясь эхом. — Пациент жив. Он перенёс вмешательство хорошо, без критических осложнений. Сейчас он в реанимации, под круглосуточным наблюдением. Если все пойдёт по плану, через сутки его переведут в обычную палату.

Она сделала паузу, переводя дыхание, и добавила — тише, почти безразлично:

— Всё остальное — в истории болезни. С лечащим врачом обсуждайте.

Она замолчала. И в этой тишине — такой оглушительной, такой полной, — произошло то, чего я никак не ожидал.

Из дальнего конца коридора поднялась моя бабушка, Лейла Ханым. Она подошла к Мелисе медленно, опираясь на трость, и остановилась прямо перед ней. Подняла свою сухую, морщинистую руку и легонько коснулась её плеча.

— Молодец, девочка, — сказала она, и её старый, надтреснутый голос дрожал. — Я знала. Я всегда знала, что ты станешь великим врачом. Ты всегда была особенной.

Мелиса не ответила. Не улыбнулась. Не заплакала. Она просто стояла, принимая эту ласку, и смотрела куда-то сквозь неё, в пустоту. А потом перевела взгляд на меня — и в этом взгляде я наконец увидел то, чего ждал. Не холод. Не пустоту. Гнев. Настоящий, неприкрытый, ледяной гнев, от которого у меня перехватило дыхание.

— Я не та девочка, которую вы знали, Лейла Ханым, — произнесла она наконец. Её голос был тихим, но каждое слово падало как камень. — Я — Эроглу. И завтра я уезжаю.

Она повернулась и пошла по коридору прочь от нас, не оглядываясь. Её шаги — нетвёрдые, усталые, но всё ещё решительные — отдавались эхом по линолеуму. И я всё смотрел ей вслед, чувствуя, как что-то внутри меня переворачивается, ломается, рассыпается в прах.

Ярость душила меня. Ярость на неё — за то, что она посмела вернуться. За то, что она посмела стать сильной. За то, что она посмела смотреть на меня так, будто это я был виноват, а не она. Будто это я разрушил её жизнь, а не она — жизнь Селин.

Но где-то там, в самой глубине души, куда я боялся заглядывать даже в самые тёмные ночи, шевельнулось что-то ещё. Что-то, чему я отказывал в праве на существование. Сомнение. Крошечное, противное, настойчивое сомнение.

А что, если?..

Нет. Я не позволю. Я не предам Селин. Я не предам ту, кто доверила мне свою боль, свою историю, свою жизнь. Мелиса заслужила всё, что получила. Она заслужила изгнание. Она заслужила презрение. Она заслужила, чтобы её вычеркнули из нашей жизни.

Но тогда почему моя бабушка — мудрая, старая, всегда такая проницательная — смотрела на Мелису с такой любовью и болью? Почему она никогда не верила в вину Мелисы? Почему она говорила мне о слепоте?

Я обнял Селин — холодную, беззвучно плачущую, — и закрыл глаза. В голове крутились слова отца: «Я не знаю всей правды». Может, и я не знаю? Может, я никогда не знал?

Я отогнал эту мысль. Не сейчас. Не сегодня. Сегодня дед выжил. Сегодня Мелиса уедет. И всё вернётся на круги своя. Мы забудем. Мы вычеркнем. Мы будем жить дальше.

Но я знал: не получится. Потому что с этого дня я буду ловить себя на том, что вспоминаю её взгляд. Холодный. Гневный. И в то же время — такой живой, такой настоящий, что у меня перехватывало дыхание.

Мелиса ушла. Дверь в ординаторскую захлопнулась за ней. А мы остались ждать — выздоровления деда, прощения, которого не заслужили, или просто конца этого бесконечного дня.

Но я знал одно: прежними мы уже не будем. Никогда. И где-то там, в тишине, которая опустилась на коридор, я услышал слова бабушки: «Слепота — страшная болезнь. И лечат её не в клиниках».

Я закрыл глаза и взмолился Аллаху, чтобы он не дал мне прозреть. Потому что я боялся того, что мог бы увидеть.

Глава 12 Мелиса

Я вошла в ординаторскую выжатая как лимон. Нет, не так. Не просто выжатая как лимон — выжатая, высушенная, выкрученная до последней капли, как тряпка, которую отжали в промышленной центрифуге и бросили сохнуть на раскалённом асфальте. За эти девять с половиной часов непрерывной работы я чертовски устала — так, как не уставала, кажется, никогда в жизни. Даже после той самой первой трансплантации с профессором Коркмазом, которая длилась почти столько же. Даже после тех суток в ординатуре, когда я, двадцатитрёхлетняя, с двухлетним Эфе на руках, сдавала экзамены после бессонной ночи. Даже после всего того, через что я прошла за эти восемь лет.

Эта усталость была особенной. Она была не просто физической — хотя физическая усталость была колоссальной. Ноги гудели так, будто я пробежала марафон, а не стояла на одном месте девять с половиной часов. Спина ныла — тот самый характерный, тупой, ноющий звук в позвоночнике, который бывает после долгого стояния в неудобной позе, склонившись над операционным столом. Пальцы, только что сжимавшие скальпель, иглодержатель, зажимы, подрагивали мелкой, противной дрожью, которую я не могла унять. Шея затекла так, что я с трудом могла повернуть голову.

Но помимо физической была и другая усталость — та, что глубже, та, что не проходила после душа и сна. Эмоциональная. Ментальная. Девять с половиной часов абсолютной, запредельной концентрации — когда мир сужается до размеров операционного поля, когда нет ничего, кроме швов, анастомозов и показателей на мониторе, — высасывают из тебя не только физические силы. Они высасывают душу. И теперь, когда адреналин схлынул, оставив после себя лишь пустоту и дрожь, я чувствовала себя опустошённой. Как дом, из которого вынесли всю мебель и оставили только голые стены.

А ещё я была дико, просто зверски голодной. Желудок сводило спазмами, и я вдруг осознала, что за последние десять часов у меня во рту не было ни крошки. Завтрак в ресторане — яичница, тост, кофе — остался где-то там, в другой жизни, в другом мире, до операции. Сейчас, в три часа дня, я готова была съесть всё, что попадёт на глаза. Хоть сухой больничный хлеб. Хоть холодный чай. Хоть что угодно.

В ординаторской было пусто и тихо. Сезер и Аслан, мои молодые ассистенты, ещё возились в реанимации, оформляя перевод пациента и записывая первые послеоперационные показатели. Дениз ушёл проверять оборудование. Джемиль-бей, попрощавшись со мной у дверей операционной и ещё раз рассыпавшись в комплиментах — от которых мне, честно признаться, было немного неловко, — отправился в свой кабинет. Я осталась одна.

Я села за стол — тот самый стол, за которым вчера сидела напротив Джемиля и обсуждала план операции, — и позволила себе наконец-то расслабить плечи. Они опустились, и я почувствовала, как напряжение, державшее меня все эти часы, медленно отпускает. Передо мной лежал бланк отчёта об операции — стандартная форма, которую нужно было заполнить и подписать. Я потянулась за ручкой, и мои пальцы, всё ещё непослушные, чуть не выронили её. Пришлось взять ручку второй рукой покрепче.

— Соберись, Мелиса, — пробормотала я себе под нос. — Всего лишь отчёт. Пять минут — и ты свободна.

Я начала заполнять графы — дата, время начала и окончания операции, название процедуры, состав операционной бригады, использованные материалы. Хирургический протокол операции Бенталла де Боно с протезированием восходящего отдела аорты и аортального клапана, аортокоронарное шунтирование. Рука, привыкшая к таким отчётам, выводила строки автоматически, почти без участия мозга. Я писала и думала о том, как прекрасно будет сейчас добраться до отеля, принять горячий душ, рухнуть в кровать и проспаться часов двенадцать. А

потом — потом позвонить Эфе. Потом собрать вещи. Потом — в аэропорт. И домой. В Анкару. К моей настоящей жизни.

Я уже почти дописывала последний раздел, когда в моей сумке, лежавшей на соседнем стуле, зазвонил телефон. Резкая, вибрирующая трель разорвала тишину ординаторской, и я вздрогнула от неожиданности. Рука дёрнулась, и ручка прочертила на бумаге неровную линию. Я выругалась сквозь зубы, отложила ручку и потянулась к сумке.

На экране высветилось имя: «Зейнеп». И под ним — улыбающаяся фотография моей лучшей подруги, сделанная прошлым летом где-то на побережье. Она держала в руках огромное мороженое и смеялась, а ветер трепал её каштановые волосы.

Я провела пальцем по экрану, принимая вызов, и экран ожил. На меня смотрела Зейнеп — живая, сияющая, с блестящими глазами и неизменной чашкой кофе в руке. Она сидела, судя по фону, в своей уютной гостиной, и солнечный свет, пробивавшийся сквозь занавески, падал на её лицо. На заднем плане я услышала детские голоса — судя по всему, Эфе и Дефне, её дочь, как раз что-то бурно обсуждали.

— Привет, подруга! — воскликнула Зейнеп, и её голос, бодрый и весёлый, прозвучал как глоток свежего воздуха после долгого дня. — Ну как прошла операция по спасению? Ты жива? Выглядишь уставшей, но вроде целой.

— Привет, Зейно, — ответила я, откидываясь на спинку стула и наконец позволяя себе улыбнуться. — А как ты так умудряешься угадывать время? Я ещё даже твоему мужу — между прочим, моему начальнику, — не успела сообщить об окончании операции, а ты уже всё знаешь? — спросила я с лёгким смешком, хотя на самом деле мне действительно было интересно. Зейнеп всегда обладала какой-то сверхъестественной интуицией, которую я в шутку называла ведьмовством.

Она засмеялась — тем самым звонким, переливчатым смехом, который я помнила ещё с университета. Когда-то, восемь лет назад, этот смех был единственным светлым пятном в моей жизни. Когда я, двадцатилетняя, раздавленная, беременная и перепуганная до полусмерти, сидела в её крошечной съёмной квартире на окраине Анкары и не знала, что делать дальше, — Зейнеп смеялась. И её смех возвращал меня к жизни.

— Хах, секрет фирмы! — она подмигнула мне в камеру и сделала глоток кофе. — Вообще-то, подруга, если ты не в слезах — а ты явно не в слезах, у тебя лицо уставшее, но довольное, — значит, всё прошло отлично. Поэтому это лучшая новость за сегодня. Я рада. Я безумно рада. Я знала, что ты справишься.

Она замолчала на секунду, и её лицо стало чуть более серьёзным — настолько, насколько вообще могло быть серьёзным лицо Зейнеп, вечной оптимистки и хохотушки.

— Вообще-то ты так стремительно уехала, Мелиса, что мы даже не успели нормально переговорить. Я, конечно, всё понимаю — работа, долг, великий хирург и всё такое, — но нельзя так пугать людей. Я себе места не находила эти два дня. Алем вообще ходил мрачнее тучи — он, конечно, не показывал виду, но я-то его знаю. Он переживал за тебя. Мы оба переживали.

Я вздохнула и провела ладонью по лицу, чувствуя, как усталость накатывает новой волной.

— Прости, Зейно. Просто... это всё было очень внезапно. Звонок от брата, и через час я уже уговаривала Алема подписать командировку, а утром уже сидела в самолёте. У меня даже времени не было нормально всё обдумать. Но я знала одно: я должна это сделать. Я должна была провести эту операцию.

— И ты провела, — тихо сказала Зейнеп, и в её голосе прозвучала неподдельная гордость. — Ты справилась, подруга. Ты — невероятная. Я всегда это знала, с самого первого дня, когда увидела тебя на автовокзале — заплаканную, с одним чемоданом, но с таким упрямством в глазах, что было ясно: эта девушка горы свернёт. И ты свернула. Ты стала лучшим кардиохи-

ругом, которого я знаю. И ты спасла человека, который... — она запнулась, подбирая слова, — который, ну, ты понимаешь.

— Который меня предал, — закончила я за неё. — Да. Я знаю. Но это не имело значения. Я врач. Я просто делала свою работу.

— Вот именно поэтому ты невероятная, — подытожила Зейнеп. — Ладно, хватит о грустном. У меня к тебе есть разговор повеселее. Ты, конечно, в курсе, что тебе скоро — а именно через полторы недели — стукнет двадцать девять лет?

Я моргнула. События последних двух дней, вся эта эмоциональная буря, встреча с прошлым, подготовка к операции, сама операция — всё это настолько заполнило мою голову, что я напрочь забыла о собственном дне рождения. Двадцать девять лет. Последний год перед тридцатником. Целая эпоха. Целая жизнь.

— Эмм... — протянула я, чувствуя себя немного глупо. — Честно говоря, я даже не думала об этом. Ну, с Эфе посидела бы дома, выпила чай с пирожными, задула свечку на торте. И всё. Тихий, спокойный день рождения. А что? — я прищурилась, вглядываясь в её лицо на экране. — Судя по твоему хитроумному взгляду, у тебя на мой день рождения наполеоновские планы, да?

— О-о-о-о, ну всё, родная! — Зейнеп аж подпрыгнула на диване, едва не расплескав кофе. Её глаза загорелись тем самым огнём, который не предвещал ничего хорошего для моего спокойного образа жизни. — Моя фантазия разгулялась! Ты даже не представляешь, что я придумала! Я два дня об этом думала, пока ты геройствовала в Стамбуле!

— Так, Зейно, — я выставила руку перед камерой, словно пытаюсь остановить её на расстоянии, — давай сразу договоримся: никаких клубов. Никаких огромных вечеринок. Никаких сотен гостей. Я старый, уставший хирург, который мечтает только о тишине и покое.

— Хах, старый хирург, скажешь тоже! — фыркнула она. — Двадцать девять — это не старость, это расцвет! Но, блин, была бы я не замужем — потащила бы тебя в клуб. Честное слово. Мы бы надели самые короткие платья, самые высокие каблуки, накрасились бы так, что твой дедушка — ну, тот самый, с сердцем, — снова попал бы в реанимацию от одного нашего вида, и пошли бы зажигать! Мы бы танцевали до утра, пока ноги не отвалятся! Мы бы...

— Зейнеп, — перебила я её, смеясь, — ты забыла, что у тебя муж и дочь?

— Ой, точно, — она сделала преувеличенно грустное лицо, но в глазах её всё равно плясали чёртики. — Вот поэтому-то меня и не отпустят. Алем, конечно, мужчина широких взглядов, но он почему-то считает, что замужней женщине с ребёнком не пристало скакать по ночным клубам. Представляешь, какой деспот? — она драматично закатила глаза, и я не смогла удержаться от смеха.

— Кошмар. Как ты вообще с ним живёшь?

— Сама не знаю, — вздохнула она с притворной печалью, но тут же снова оживилась. — Но ничего! Даже будучи замужем, я могу устроить тебе праздник! У меня есть план! Грандиозный! Наполеоновский! Я уже всё продумала — до мельчайших деталей. Это будет лучший день рождения в твоей жизни, Мелиса Кылынч — ой, прости, Эроглу. Честное слово.

— Зейно, — сказала я, и мой голос стал мягче, — ты же знаешь, мне не нужен грандиозный праздник. Мне достаточно того, что ты, Алем, Дефне и Эфе будете рядом. Вы — моя семья. Большого мне и не надо.

Глаза Зейнеп на мгновение подозрительно заблестели, и она быстро моргнула, прогоняя непрошеную влагу.

— Ты меня до слёз доведёшь, подруга, — сказала она тихо. — Ладно. Детали обсудим, когда ты вернёшься. Кстати, об этом. Когда ты возвращаешься? Эфе тут уже извёлся — каждый час спрашивает, когда мама приедет. Он даже нарисовал для тебя открытку. Она висит на холодильнике, рядом с той, что ты прислала ему на прошлый Новый год. Я ему сказала,

что мама спасает жизни, и он очень гордится. Говорит: «Моя мама — супергерой. Как Человек-паук, только лучше».

Я почувствовала, как к горлу подкатывает тугой, горячий комок. Мой сын. Мой маленький мужчина. Мой Эфе.

— Завтра, — сказала я, и мой голос чуть дрогнул. — Если всё будет хорошо и деда переведут из реанимации, завтра я вылечу обратно. Я уже заказала билеты. Скажи Эфе, что мама возвращается. И что он — то, что он сказал про супергероя... — я запнулась, — скажи ему, что это он — мой главный герой. И что я его очень, очень люблю.

— Обязательно скажу, — мягко ответила Зейнеп. — Но учти: от разговора про день рождения ты не отвертись. Когда вернёшься, я лично за тебя возьмусь. Всё, подруга, иди заполняй свой отчёт, езжай в отель, падай в кровать и спи. Ты сегодня это заслужила. Завтра увидимся.

— Завтра, Зейно. Люблю тебя. Передай всем привет.

— И я тебя. Пока, супергерой!

Экран погас, и в ординаторской снова стало тихо. Я ещё несколько секунд сидела неподвижно, глядя на чёрный экран телефона и чувствуя, как в груди разливается тепло. У меня была удивительная подруга. У меня был прекрасный сын. У меня была семья — не та, что по крови, а та, что по сердцу. И у меня было будущее, ради которого стоило жить.

Я глубоко вздохнула, потянулась, разминая затёкшие плечи, и снова взялась за ручку. Отчёт нужно было дописать. Потом — в отель. Потом — спать. А завтра — домой. В настоящий дом. К моим настоящим людям.

Я дописала последнюю строчку, поставила подпись и закрыла папку. Поднялась со стула — ноги всё ещё гудели, но теперь к усталости примешивалось что-то ещё. Что-то похожее на предвкушение. На ожидание того хорошего, что ждало меня впереди. Я взяла сумку, поправила брошь-сердце на лацкане платья и направилась к выходу. Сегодня я спасла жизнь. А завтра я увижу сына. И это — всё, что имело значение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.